

ЖЕМЧУЖИНА

Литературно-художественный образовательный журнал

«The Pearl» / «Zhemchuzhina» № 66 Brisbane, Australia, April 2016



Брисбен

66

Апрель 2016 г.

“The Pearl” / “Zemchuzhina”

Literary and Educational Journal in the Russian Language.
Published and printed by the Editor of “The Pearl” / “Zemchuzhina”
Brisbane, Australia.

«Жемчужина»

Литературно-художественный образовательный журнал.
Выпуск - 4 раза в год.

Copyright © Tamara Maleevsky - The Editor of “The Pearl” / “Zemchuzhina”

This publication is copyright. Apart from any fair dealing for the purposes of private study, research, criticism or review, as permitted under the Copyright Act, no part may be reproduced by any process without written permission of the Editor.

National Library of Australia cataloguing-in-publication data
“The Pearl” / “Zemchuzhina” - Literary and Educational Journal in the Russian Language

Index

ISSN 1443-0266

Signed articles express the opinions of the authors and do not necessarily represent the opinions of the editor of “The Pearl” / “Zemchuzhina”.

“Zemchuzhina” (“The Pearl”) is a magazine published at the Editor’s own expense as a non-profit publication for the Russian society, consequently, it does not offer any honorariums, stipends or other remuneration to its contributors.

Взгляды, высказываемые авторами в своих статьях, не обязательно совпадают с мнением редакции.

Журнал «Жемчужина» выпускается исключительно на личные средства издателя для русского общества и не преследует коммерческих целей. Следовательно, издатель не выплачивает никаких гонораров, стипендий или иных вознаграждений авторам, труды которых он печатает.

Редакция оставляет за собой право сокращать рукописи и изменять их стилистически.

Рукописи, не принятые к печати, не обсуждаются и не возвращаются.

Адрес для связи:

tamaleevpearl@optusnet.com.au или tamaleevpearl@gmail.com

***Просьба:** посылая работу по E-mail, обязательно делать пометку - “For Pearl”.

Tel: редакция - (07) 3161-49-27 mobile: 0404559294

Сайт журнала в Интернете - <http://zemchuzhina.yolasite.com>

Цена отдельного номера - \$ 6 плюс \$ 2.10 пересылка по Австралии и упаковка.

Стоимость годовой подписки (4 журнала), включая пересылку по Австралии - \$ 35.00

Христос Воскресе!



Дорогих читателей, авторов и друзей журнала
поздравляем С Великим Праздником
Светлого Христова Воскресения!
От всего сердца желаем всем
счастья, здоровья и всего самого наилучшего!



ред. журнала «Жемчужина».



Догорает закат...

Догорает закат на кресте золотом,
Одевается в ризы парчовые вечер,
И рождается благовест в звуке простом,
Зажигаются звезды на небе, как свечи.

Подхожу ко святыне, главу преклоняю,
С замиранием сердца крещусь не спеша
И калитку, ведущую в рай, отворяю,
В ожиданье молитвы томится душа.

Окунаюсь с порога в эту тихую радость,
Забываю в мгновение здесь о мирском.
Исчезают обиды дневные, лишь сладость
Остается внутри от общенья с Христом.

И душа, утолившая вечную жажду,
Не желает расстаться с живою водой.
Повторение службы, Владыка, подаждь мне.
Угасают лампы. Наступает покой.

прот. Василий Мазур.
г. Херсонес.



*Люди могут забыть,
что вы сказали.
Могут забыть, что вы сделали.
Но никогда не забудут, что вы
заставили их почувствовать.*

ПАСХА

Этот май одаряет нас щедро,
Пробуждает природу Весна.
Первой зелени льётся аллегро,
Пасха радостью жизни полна!

Всё с Пасхальной радостью мило.
Жизнодавцу мы гимн воспоём!
Воскресения крестная сила
Освятит благодатным огнём.

Альбина Янко

«Свете Тихий»



Под небом растаяла туча сырая,
Деревья подобны искрящимся кладам,
И первые птицы вернулись из рая,
И вырос закат заколдованным садом.
Зажги, о закат, мою душу и тело,
Чтоб сердце, как ты, пламенело и крепло,
И жарче любило, и ярче горело.
А ветер забвенья избавит от пепла.

Хуан Рамон Хименес.

В ожидании весны

Сосед твердит, что жить в России плохо.
А воробей щебечет: "Ничего!"
Кончается суровая эпоха
Морозного и вьюжного всего.

Да, не сезон, а целая эпоха!
Ведь столько птахе вытерпеть пришлось...
Сосед канючит: "Ну послушай, Лёха!
Идёт держава наша вкривь и вкось!"

Сижу, молчу и попусту не спорю.
Гляжу вокруг: всё, вроде, как всегда.
Вот рыжий кот пригрелся на заборе.
Вот ребятня играет у пруда.

И бабка Ньюра в дедовой фуфайке
Встречать теплынь выходит на крыльцо...
Не стану слушать про плохое байки,
А повернусь к хорошему лицом.

«Свете Тихий»

Алексей Гушан



ИЮНЬ

Июнь... Июнь...

Пуж тополиный

Завис бессильно над землёй,
Сомлевшей в горечи пролынной
В невиданный доселе зной!

Вдали -

Ни облачка, ни грома...

И полыхает горизонт

Закатным пламенем багровым,

Рождающим

Вечерний звон.

Вл. Колабухин.



МОЯ СТРАНА

Мой домик с покосившимся крыльцом,
Но солнце расплескало в небе краски.
Напрасно с ироническим лицом
Вы на Россию вешаете маски...
Моя страна - не гром былых побед,
Не похоронок жёлтая бумага,
Моя страна не скорбь свербящих бед,
Не проволока серая ГУЛАГа.
Здесь сосны подпирают гладь небес,
Там наклонился над рекою вечер,
Там прислонился к горке синий лес,
И там родник водой прозрачной лечит.
Пусть не тревожат душу купола,
Не вызывают трепетной печали,
Журавлик в небе, белые крыла
Страну мою с собою повенчали...
Там утром раздаётся птичий свист,
Там на березах белые отметки,
И на ветру трепещет клейкий лист,
Пытаясь не сорваться с тонкой ветки.
Там облака пасутся за горой,
Встречая зори светло - голубые.
Вот это я зову своей страной,
Вот это я зову своей Россией.
Адепты партий, лозунгов, идей,
Злословить не хорошая примета.

Не приплетайте к Родине людей,
Что в патриоты метят за монету.
Моя страна - осенний шум осин,
Моя страна - дожди и вечер мгlistый,
А не турне до станции Берлин,
Безумных циркачей-мотоциклистов.
К земле склонится колос золотой,
Погибшим - царство вечного покоя.
Нельзя отождествлять с моей страной
Пиарящихся на костях героев.
Моя страна - не копьё и не меч,
Она с открытой миру подноготной.
Моя страна - не те, кто мечет желчь,
Сбиваясь в толпы площади Болотной.
Моя страна - венок из белых лент.
Моя страна - не штык и не винтовка,
Моя страна не бомж, не президент,
Моя страна - Сибирь, а не Рублевка.
Моя страна - подснежник золотой,
Моя страна простит и не осудит,
Моя страна - Гагарин и Толстой,
Чайковский, Циолковский. Просто люди.
Россия - это блеск счастливых глаз,
Россия - смесь из совести и долга.
Моя страна - не только нефть и газ,
Моя страна - восход, рассвет и Волга...

Александр Гутин.

Святая сила слова. Не предать родной язык. Чья красота спасёт мир?



Высшая свобода слова

«Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка», - воскликнул когда-то Александр Сергеевич Пушкин.

Свобода слова... это ведь ещё и фраза из Конституции.

Господи, что только под этим не понимается, что только не пытаются ныне (впрочем, как и во все времена) этим понятием обозначить, а между тем... А между тем высочайшая миссия человеческой речи, как мне кажется, самая высокая честь, оказанная нам, людям, которым это самое слово даровано, есть *бogoобшечие*, а высшая миссия человеческого слова - молитва. И именно поэтому мы, православные христиане, именуемся ещё и словесным стадом. Метко замечено кем-то, что если отнять у нас слово, то мы превратимся в мычащую биомассу. Вообще, слово как таковое есть та таинственная основа, по которой ткётся причудливый ковёр нашей жизни: неповторимый у каждого как по размеру, так и по количеству и плотности узелков, богатству и красочности узора, но единый именно в этой своей словесной основе. Призванные к жизни Самим Словом, нередко не подозревая об этом, все мы тем не менее обретаемся в сакральной стихии Божественного Логоса: от первого крика новорождённого, покинувшего благословенное материнское чрево, до последнего вздоха, последнего слова старца, с мужеством и смирением переступающего порог Вечности.

Вот и войдя в храм и завидев батюшку, а то и на улице, привычно тянемся к нему за благословением, за благими, а значит, святыми словами. Осеняя нас крестным знаменем, иерей всенепременно произносит: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа». А иной батюшка ещё и добавит: «Не я благословляю, Бог благословляет». Молитв так много, но именно с этих благих слов начинается каждая служба, молебны, всякое доброе дело, утреннее и вечернее правило. Этими словами напутствуем мы своих малышей, пришедших к нам перед тем, как отправиться ко сну, а когда подрастут и войдут в пору зрелости, - благословляем на брак, осеняя особо чтимым образом из домашнего иконостаса.

Даже тем, кто не веруют в Бога, даже тем, кто ни разу не раскрывал Евангелие от Иоанна, знакомы тем не менее эти удивительные слова, с которых оно начинается: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все чрез него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит и тьма не объяла его» (Ин. 1,1-5). В книге «Православная цивилизация» её автор проф. В.Н. Тростников пишет о поразительных вещах. Оказывается, расшифрованный учёными геном мыши представляет собой «набор записанных в четырёхбуквенном алфавите азотистых оснований кодов ДНК, текст общей длиной около миллиарда единиц». «Через 2000 лет, - продолжает учёный, - после того, как евангелист Иоанн Богослов оповестил мир о Слове, через Которое всё начало быть, наука убедилась: так оно и есть! Оказалось, что пушистый зверёк, как и всё живое на земле, получил своё бытие именно от слова, изречённого о нём Творцом, которое вводило, вводит и будет вводить в круг явлений миллионы особей, принадлежащих к виду "мышь"».

«Сигнал» или чудо?

И по сию пору в российской науке о языке традиционным является подход, когда слово рассматривается не только с филологической, но и с философско-нравственной, мистической, если хотите, позиций. Западный же взгляд заключается в совершенно ином, в сугубо информационном, рационалистическом подходе к слову как таковому. Дошло до того, что некоторые западные лингвисты вообще отказываются от самого понятия слова, воспринимая его лишь как техническое средство, своего рода сигнал, импульс.

Вся великая русская словесность пронизана благоговейным отношением к феномену человеческой речи, живого слова, этому чуду из чудес. Как же проникновенно поведал об этом в стихотворении «Слово», написанном в праздник Рождества Христова, И.А. Бунин, сорокапя-

тилетний, тогда ещё живший на родине, в родной дореволюционной Москве, но уже в предчувствии величайшей русской трагедии, «дней злости и страдания», до которых оставалось всего два года:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Молчат гробницы, мумии и кости, - | И нет у нас иного достоянья! |
| Лишь слову жизнь дана: | Умейте же беречь |
| Из древней тьмы, на мировом погосте, | Хоть в меру сил, в дни злости и страдания, |
| Звучат лишь Письмена. | Наш дар бессмертный - речь. |

Спустя тридцать лет, в год окончания невиданного до сей поры национального испытания - Великой Отечественной войны - ему вторила Анна Андреевна Ахматова:

Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор. К смерти всё готово.
Всего прочнее на земле - печаль
И долговечней - царственное слово.

Но ещё задолго до них мудрейший Владимир Иванович Даль в своём знаменитом «Напутном слове» читанном в Обществе любителей русской словесности в Москве, 21 апреля 1862 года», посвящённом изданию знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка», выскажет мысль и ныне звучащую грозным набатом для всех, кто любит и ценит русскую речь: «Но с языком, с человеческим словом, с речью безнаказанно шутить нельзя; словесная речь человека - это видимая, осязаемая связь, союзное звено между телом и духом: без слов нет сознательной мысли, а есть разве одно только чувство и мычанье».

Красный угол и фэн-шуй

Во все века православный русский человек, придя домой или, скажем, в гости, после традиционного пожелания мира этому дому привычно искал глазами красный угол, дабы осенить себя крестным знамением. Таковыми были замечательные традиции благочестия. Позже большевики окрестят красными уголками места своего так называемого культурного досуга, которые в армии назовут ещё и ленинскими уголками. Что, впрочем, совершенно незнакомо - и слава Богу - современным молодым людям. Ныне же стало признаком хорошего тона, принимая у себя дорогих гостей, подробно поведать им о системе фэн-шуя в собственном жилище. Чтобы, не приведи Господь, не подумали о них, как о людях некультурных, или, как принято выражаться ныне, не продвинутых.

На одной из огромных московских афиш, приглашающих посетить концерт новомодного иностранного певца, прочёл фразу «специальное спасибо», обращённое в адрес какой-то фирмы, оказавшей содействие его приезду. Но ведь это грубая калька с английского «special thank»! Господа хорошие, так принято говорить у них, но не у нас. Да это попросту не по-русски! У нас традиционно выражают *особую благодарность*. А ведь некоторые молодые люди и впрямь поверят, что можно благодарить кого-то, выражая это пресловутым заокеанским: «специальное спасибо». На другой афише, возвещающей о концерте действительно выдающегося композитора Эннио Мориконе, ему почему-то присвоили звание «Миллионер мелодий». Или без упоминания денежных знаков нынешней публике трудно понять масштаб музыкального дарования?

Припомним, с какой прискорбной легкостью стали мы называть величественное здание, в котором вот уже второе десятилетие восседает правительство новой России, на американский манер *Белым Домом*, который иные отечественные журналисты, не смущаясь, глумливо именуют в прессе ещё и на сокращённый манер «бэдэ». Поначалу казалось, что это так - шутка, поговорят-поговорят и перестанут. Да нет, не перестали. И ныне, куда ни поедешь, в больших и малых городах: всюду здания, в которых трудится местная власть, будь то даже непривлекательная одноэтажка в какой-нибудь глуши, непременно - «Белый Дом». Сколько ж можно обезьянничать?! А вот когда автор этих строк около четырёх десятилетий назад работал вожаком в летнем пионерском лагере в одном южном пригороде, то, помнится, дети прозвали «белым домом» общественный, выбеленный извёсткой сортир. Что ни говорите, а в этом варианте мы видим наличие куда более зоркого глаза и меткого русского слова.

В.Д. ИРЗАБЕКОВ

О, могучий мой Русский язык



О, могучий мой Русский язык! -
Что же матом тебя засоряют?
Затуманив величия лик,
В иностранных словах растворяют.

О, певучий родной мой язык,
Одарил ты собою народы!
Что ж истошный мне слышится крик,
Будто ты посягал на свободы?!

О, великий, богатый язык!
Ощуаю простор твой и волю.
Неустанный творец ты, родник
И подарок всевидящей доли.

Скрыта бурного нрава гроза,
Всюду - россыпи древнего слова,
И российской природы краса,
И душевность родимого крова.

Как я счастлива снова сказать:
Никакой не сравнится с тобою!
Для меня ты - всегда благодать,
Где слова льются чистой рекою.

Пусть истошно кричит вороньё, -
Твои нервы звенят звонкой нотой!
Я в грядущее верю твоё:
Ты - как улья бесценные соты!

Людмила Деева.
Сайт «Свете Тихий»



Когда о самом сокровенном
Сказать желаешь каждый раз,
Так трудно вырваться из плена
Дежурных и банальных фраз.

Дар красноречия искусство,
Но, мысль конечно не нова,
Когда преобладают чувства,
С трудом находятся слова.

И юноше при первой встрече,
И мужу зрелому не в срок
Влюбившемуся, косность речи
И робость, право, не в упрек.

Сергей Филиппов.

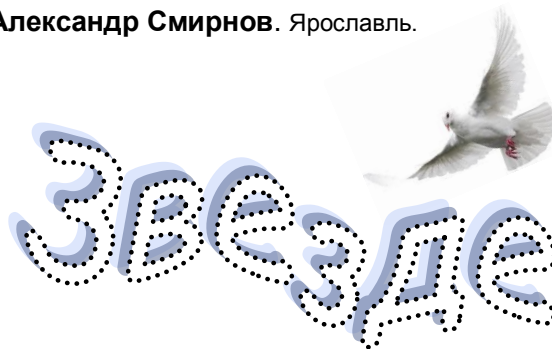
Россия.



ВОЛГА

Широко разлилась по равнине великая река. Какая картина открывается с высокого берега! Уходит вдаль равнина, покрытая зеленью, и домики на ней кажутся игрушечными. Дремлют величественные леса и тенистые рощи, деревья слегка покачиваются на ветру. В свете солнечных лучей блестит и переливается Волга, плещутся о берег маленькие волны, спокойно несёт свои воды река. Утро передаёт власть жаркому летнему дню...

Александр Смирнов. Ярославль.



В уйме ярких звезд Земля - крупинка,
Род людской - всего лишь пыль на ней.
Только хочет серая пылинка
Заблестеть небес звезды сильней.

Но от звезд вечерних переливы,
По-над рябью речек и озёр,
Всё ж пылинки ярче и игривей...
Всё ж ласкают нам нежнее взор.

Не с того ль пылинка сквернословит,
Что назваться хочется звездой?..
Знать, где пыль земная верховодит,
Точно всё кончается враждой.

Люди зря во вред себе злословят,
Затемняя совесть ни за грош.
Нет, ничто разлад не остановит,
Если изначально в мыслях ложь.

Александр Лазутин.

Сайт «Свете Тихий»

Основы христианской культуры

16. О ВИДОИЗМЕНЕНИЯХ ЛЮБВИ



Итак, начало духа видоизменяет внутреннее строение любви и форму ее проявления.

Обычно или нередко «любовью» называют лишь одну из ее разновидностей, и притом наименее духовную. Эта низшая разновидность любви слагается согласно формуле «по милу хорош» и то сводится к инстинктивному наслаждению чужим присутствием, то исчерпывается жалостью к чужому телесно-душевному страданию. В противоположность этому духовное начало, останавливая бессмысленный разлив чувствительности и указывая любви ее подлинный, достойный предмет, постоянно приучает ее не идеализировать нравящееся («по милу хорош»), а наслаждаться совершенным («по хорошу мил»), и вслед за тем сообщает

ей необходимую для духовной жизни внутреннюю гибкость и многообразие внешних проявлений.

У человека духовно неразвитого и беспомощного «любовь» начинается там, где ему что-то «нравится» или где ему от чего-то «приятно»; она протекает в плоскости бездуховного «да» и стремится к максимальному внутреннему и внешнему наслаждению. Эта бездуховная любовь чаще всего отвращена от воли и разума и обращена к воображению и чувственному ощущению.

Напротив, духовная любовь имеет власть отвернуться от «нравящегося» и «приятного»; она имеет силу утвердить себя на уровне стойкого «нет»; она способна принять форму тяжкого и безрадостного служения.

Единственная, неизменная функция духовной любви - это «благо-желательство»; это значит, что она всегда и всем искренно желает - не удовольствия, не наслаждения, не удачи, не счастья и даже не отсутствия страданий, а духовного совершенства, даже тогда, когда его можно приобрести только ценою страданий и несчастья. Уже следующая функция духовной любви - опытное и интуитивное восприятие чужой личности, доводимое, в его полноте, до художественного отождествления, - осуществляется далеко не всегда: на низших ступенях духовного самовоспитания она осуществляется преимущественно по отношению к идеальным, совершенным человеческим образцам (святые и герои); на средних ступенях - может быть только по отношению к Богу (уединение); на высших ступенях - только в Боге и через Бога, а из людей только по отношению к тем, кто сам просит о помощи (старчество). Духовно любящий всегда «благо-желательствует», но не всегда «отождествляется», и когда «отождествляется», то далеко не всегда «творчески приемлет», «одобряет» и «жалеет», и когда одобряет, то совсем не «по милу», и когда «жалеет», то не повергая в безвольное размягчение ни себя, ни страдающего. Любовь его есть любовь к совершенству любимого или к любимому в его совершенстве, и эта любовь к совершенству любимого всегда остается сильнее, чем страх перед его возможным страданием.

Обычная любовь любит земной состав индивидуального человека и не знает ничего, что можно было бы противопоставить ему как высшее: отсюда ее чувственная и слащавая мораль, ставящая выше всего беспредметное «умиление» и беспринципную «доброту».

Напротив, духовная любовь знает это высшее и перед его лицом умеет владеть и своим умилением, и своей добротой. Она знает, что между двумя основными заповедями Христа (о любви к Богу и любви к ближнему) возможны видимые столкновения, в которых служение делу Божьему может требовать безжалостной суровости к человеку, а жалость к человеку бывает равносильна предательству по отношению к Божьему делу. И зная это, она знает также, как следует выходить из этих мнимых «столкновений», ибо отношение к Богу всегда остается для нее мерилем, которому подчинены отношения к людям. Поэтому для нее не может быть условий, при которых следовало бы предать дело Божие из жалости к человеку, но всегда возможны положения, в которых из любви к Богу можно и должно сдержать любовь к человеку и свести ее к строгости духовного благо-желательства; так что вторая заповедь остается при

этом ненарушенной, ибо, вообще говоря, любовь совсем не сводится к животной жалости, расслабляющей и того, кто жалеет, и того, кого жалеют. Человек, угасивший в себе образ Божий, нуждается не в безвольно-сочувствующем «да», а в сурово-осуждающем «нет», и это останавливающее и отрезвляющее его «нет» может и должно иметь своим подлинным источником любовь к Богу в небесах и к Божественному в падшей и духовно угасшей душе.

Так зарождается и формулируется тот отрицательный лик любви, который всегда приводил и будет приводить в соблазн близоруких и сентиментальных людей. Судя обо всем по внешней видимости и не усматривая в проявлениях такой любви ни сладостного сочувствия, ни умиленной жалости, они начинают негодуяюще говорить о «вражде», «ненависти» и «злобе», ужасаются и призывают к противодуховному и малодушному «состраданию». А между тем на самом деле духовное оформление любви, столь необходимое человеку и столь трудно приобретаемое им, придает любви целый ряд драгоценных видоизменений и отнюдь не угашает и не искажает при этом ее основной любовной природы: в своем духовном «нет» - человек любит свой настоящий, подлинный Предмет несколько не менее, чем в своем духовном «да», и гораздо более, чем в своем бездуховном «да»: мало того, любовь, способная принять духовно-отрицающий лик, является всегда более глубокой, более интенсивной, более верно-преданной, чем «любовь», малодушно отвертывающаяся от зла, чтобы его не видеть, или готовая сострадательно «принять» его.

Для того чтобы понять этот отрицательный лик любви, необходимо иметь в виду, что духовно-опредмеченная и оформленная любовь, оставаясь всегда благо-желательством, т.е. желая каждому человеку духовного просветления и преображения, в то же время не может любить зла в человеке. Поэтому всюду, где она воспринимает в человеке подлинное зло (не слабость, не заблуждение, не падение, не грешность, а самоутверждающуюся противодуховную злобу), - она оказывается вынужденной видоизменить свое индивидуальное отношение к данному человеку в соответствии с наличным в его душе злом. По-прежнему всегда желая ему обращения и очищения и, может быть, радостно трепеща от одной мысли о возможности такого преображения злой души - духовно-любящий человек по необходимости переживает целый ряд видоизменений во всех остальных функциях своей любви: в сочувствии, одобрении, содействии, в творческом приятии, в желании «входить в его положение» (отождествляться), в готовности общаться и, наконец, даже в способности отнестись к нему с элементарной жалостью. Каждый из нас должен знать это по собственному опыту: есть злые поступки, которым мы не можем дать ни сочувствия, ни одобрения; есть злые цели, которым мы не можем творчески содействовать так, что от одной идеи о том, что «я был ей косвенно полезен», душою овладевает смертная тоска; есть злые жизненные положения, входить в которые воображению - отвратительно, а воле - невыносимо; есть злые люди, от простого разговора с которыми душа начинает стонать, как раненая; есть злодеи, по отношению к которым последняя вспышка угасшей жалости только и может выразиться в ускорении их смертной казни. Все эти состояния в их основном существе, в насыщающей их стихии - остаются видоизменением духовности и любви, и потому они не становятся злыми состояниями и не ведут к злым делам; и только близорукость или верхоглядство может характеризовать их как проявления зла и злобы. Однако в пределах доступной человеку любви и возможного нравственного совершенства эти состояния являются, конечно, нецельными и ущербными.

Абсолютно целью и полною может быть только любовь к Богу - к абсолютно цельному и полному совершенству. Подобное отношение к человеку как таковому, взятому в отрыве от Бога, - было бы всегда неверным, основанным на невидении и идеализации. В любви же к человеку, обнаруживающему подлинное начало зла, - необходимость урезанности и нецельности становится самоочевидной. Здесь есть предметно обоснованная справедливая мера, необходимая и субъективно неустраняемая грань. Конечно, эта мера любви не поддается точному, количественному установлению и умственное рассечение полужлого человека на «любимую добродетельность» и «нелюбимую порочность» остается неосуществимым. Но именно поэтому сложность нецельно-любимого предмета требует соответствующей сложности в строении нецельно-любящего акта; она требует от любви самообладания и приспособляемости.

Все эти видоизменения любви, вызываемые встречей между подлинной духовностью и подлинным злом, сводятся к тому, что любящее «да» скудеет в своих функциях, урезывается в своей полноте и по мере ухудшения предмета все более приближается к благо-желающему «нет»; отрицающая любовь постепенно как бы преобразуется в отрицательную любовь и находит свое завершение в земном устранении отрицаемого злодея. Но и во время этого устра-

нения и после него духовная любовь не превращается в злобу и не становится злом: человеку дано молиться и за казнимого злодея, и за казненного злодея, и Церковь знает эту молитву.

В этом предметно вынужденном функциональном скудении своем и в постепенном усилении элемента «нет» в лоне «да» - духовная любовь проходит через целый ряд классических состояний, духовно необходимых, предметно обоснованных и религиозно верных. Эти состояния выражают собою постепенное отъединение и удаление того, кто любит, от того, кто утрачивает право на полноту любви; они начинаются с возможно полной любви к человеку и кончаются молитвою за казненного злодея. Таковы в постепенно нарастающей последовательности: неодобрение, несочувствие, огорчение, выговор, осуждение, отказ в содействии, протест, обличение, требование, настойчивость, психическое понуждение, причинение психических страданий, строгость, суровость, негодование, гнев, разрыв в общении, бойкот, физическое понуждение, отвращение, неуважение, невозможность войти в положение, пресечение, безжалостность, казнь. И каждое из этих состояний, при наличности подлинного зла и верного видения, может быть и бывает духовно-здоровою и жизненно-целесообразною реакциею на злодейские проявления и поступки; так что задача человека, стремящегося к духовно верной жизни, будет состоять не в том, чтобы безусловно избегать этих состояний, а в том, чтобы не допускать их в себе без достаточных оснований, чтобы духовно владеть ими, чтобы не давать им затмевать ясность духовного взора и чтобы всегда удерживать их в родовом лоне коренного благо-желательства и всегда сохранять в себе способность к восстановлению любовной полноты. Самое высшее и чистое бесстрашие есть свобода от злых и личных страстей, от страстей духовно-неопредмеченной, безбожной самости, но оно совсем не есть ни безразличие, ни камение, ни безволие, ни бездействие. Самое высшее и чистое бесстрашие знает свои подъемы и напряжения, свои бури, и громы, и извержения; но только источником их является не животное в человеке, и не похоти животного, а дух, его видение и его горение. Эти грозы и громы являют тогда не зло, и не злобу, и не слабость человека, а силу его в добре; и не наличность их повреждает естество духа, а отсутствие их было бы духовно противоестественным. И если бы христианин когда-нибудь усомнился в этом, то ему достаточно было бы вспомнить о тех громах, которые божественно гремели над фарисеями и книжниками, над торговцами в храме, над Иерусалимом, избивающим своих пророков, и над теми, кто соблазняет малолетних. Достаточно один раз воспринять в этих громах ту самую силу любви, которая учит благоволить врагам, прощать обиды и радостно отдавать свое достояние, чтобы в душе начала угасать идеализация сентиментального безволия.

В один великий и страшный исторический момент акт божественной любви в обличии гнева и бича изгнал из храма кощунствующую толпу. Этот акт был и будет величайшим прообразом и оправданием для всех духовно и предметно обоснованных проявлений отрицающей любви. Имея его перед своим умственным взором, все пророки, государи, судьи, воспитатели и воины могут спокойно относиться к возможному суду, идущему на них со стороны безвольной сентиментальности, и к возможному причислению их к «богоотверженным ненавистникам»... Их дело - утверждаться в силе духовного благо-желательства и в ясности духовного взора. И еще помнить о безрадостной трудности ведомой борьбы.

Ибо отрицающая любовь безрадостна и мучительна для человека; она требует от него подвига, и притом сурового подвига. Здесь необходима сила, выдержка и стойкость; здесь нужны огромные волевые напряжения, верность принятым на себя тягостным обязанностям, самоотвержение и постоянная духовная активность в самоочищении. И так как отрицающая любовь покоится не на личных расчетах и пристрастиях, а на подлинном испытании зла и на духовной необходимости ответа ему, то она не поддается произвольному угашению или превращению в положительную любовь, как бы об этом ни молила, может быть, утомленная или изнемогающая душа. Непонимание этой борьбы и ее бремени и морально кривой суд, идущий от людей ленивых, робких, чувствительных и лицемерных, довершает безрадостность этого подвига, под бременем которого всегда мужались благородные и утонченные души и, мужаясь, не сомневались в правоте своего дела...

Так, начало духа видоизменяет обличие любви и форму ее проявления.

Именно благодаря такому воздействию духа на первобытную наивно-непосредственную и слепую силу любви, она приобретает высшие способности и высшие задания, и вследствие этого все ее отношение к злу утверждается на нижеследующих основаниях.

Для того чтобы любовь могла действительно противиться злу, она должна быть духовно осмыслена, ограничена и видоизменена. Но, раз осмысленная и видоизмененная, она является исходным и верховным основанием всей ведущейся человеком борьбы со злом.

Вся проблема сопротивления злу разрешается этим основным принципом: борьба ведется именно любовью, но одухотворенною любовью.

Это означает, что правило «противиться злу не из любви» (если бы кто-нибудь захотел его установить) - принципиально отвергается во всех его возможных толкованиях и осуществлениях. Всякий акт, выросший из другого источника, - в действительности или не борется со злом, а размножает его, или борется не со злом, а с его отдельными, поверхностными симптомами. Следовательно, надо осудить и нелюбовное «непротивление» - когда кто-нибудь пытается отрезать злодеев «щедростью» и «уступчивостью», движимый, однако, не любовью, а, например, рассудочным расчетом или трусливым безволием; но надо осудить и нелюбовное понуждение - если кто-нибудь борется со злодеями из чувства злобы, мести, голода, жадности или властолюбия. И то и другое - можно психологически понять; и то и другое - может оказаться и сравнительно вредным, и сравнительно «полезным» в общей экономии сил. Но настоящего сопротивления злу не будет ни в одном из этих случаев.

Следовательно, остается одно-единственное, универсальное правило: «противиться злу из любви» - из любви отдавая все свое, где это нужно, из любви понуждая и пресекая, где нужно, из любви уговаривая и из любви казня, и из любви не отдавая ничего своего, если это «твое» есть больше, чем твое, если оно есть в то же время - Божие: святыня, церковь, родина или их вещественное воплощение. И во всех этих своих проявлениях - и отдавая, и не отдавая, и умоляя, и казня - эта любовь не будет ни безразличием, ни самодовлеющей чувствительностью, ни робким попусшением, ни безвольною жалостью, ни соучастием.

Сопротивление злу творится любовью, но не к животности человека и не к его обывательской «душевности», а к его духу и духовности: любовью, которая умеет любить и душу человека, и все его земное естество, но в меру их духовной освященности и проникнутости, ибо она сознательно и бессознательно воспринимает человека и измеряет его сокровенно живущими в духе мерилami совести, достоинства, чести, искренности, патриотизма, правоты перед лицом Божиим, и потому неизменно повертывается своим отрицающим ликом ко всему бессовестному, унижительному, бесчестному, фальшивому, предательскому, богомерзкому. В борьбе со злом такая любовь любит зрячим духом и мироприемлющей волею, и потому она видит дело Божие в мире и на земле, и активно, творчески пришлет его своею силою. Потому то, **что** она любит (ее объект), есть, прежде всего, единое дело Божие на земле: и в отношении к нему - любовь цельна. Далее, объектом ее является Божественное, воплощенное в земной святыне, и в отношении к нему - любовь приобретает лик обороняющего благоговения. Далее, это есть божественно-духовное начало в притесненном ближнем, и в отношении к нему любовь приобретает лик благо-желающего сострадания. И, наконец, это есть духовное начало, гибнущее в злодее, и в отношении к нему любовь являет лик чистого и сурового благо-желательства...

Вот почему все учение о том, что активное, наступающее на злодея сопротивление злу противоречит любви, - падает как вредный моральный предрассудок. Как и всякая иная, верная форма сопротивления злу - понуждение и пресечение является делом именно любви и самой любви, если любовь что-нибудь отвергает, то не понуждение как таковое, и не телесное понуждение, и не пресечение, а зложелательство в борьбе со злом, т.е. зложелательное понуждение и зложелательное пресечение. Но активное, наступающее на злодея сопротивление злу желает и другим людям, и самому злодею - совсем не зла, а блага. И потому оно может быть и должно быть делом поборающей любви.

Иван ИЛЬИН.



Берег в вечерней заре золотится



Берег в вечерней заре золотится
Перед ночной темнотой.
Белого моря свободные птицы,
Чайки, кружат над водой.

Ветер ослабший ласкает осоку,
Поступь прибоя нема.
Сумерки скоро охватят Сороку:
Скалы, мосты и дома...

Ночи спокойной, Поморья селенье!
Ночь будет ныне глухой.
Даже порогов ночное бурление
Сна не нарушит покой.

Утром проснёмся, откроем ресницы
Мы, после неги ночной...
Будут в рассвете свободные птицы
Снова кружить над волной.

ПОСЛЕ ТЕАТРА

Надя Зеленина, вернувшись с мамой из театра, где давали "Евгения Онегина", и придя к себе в комнату, быстро сбросила платье, распустила косу и в одной юбке и в белой кофточке поскорее села за стол, чтобы написать такое письмо, как Татьяна.

"Я люблю вас, - написала она, - но вы меня не любите, не любите!"

Написала и засмеялась.

Ей было только шестнадцать лет, и она еще никого не любила. Она знала, что ее любят офицер Горный и студент Груздев, но теперь, после оперы, ей хотелось сомневаться в их любви. Быть нелюбимой и несчастной - как это интересно! В том, когда один любит больше, а другой равнодушен, есть что-то красивое, трогательное и поэтическое. Онегин интересен тем, что совсем не любит, а Татьяна очаровательна, потому что очень любит, и если бы они одинаково любили друг друга и были счастливы, то, пожалуй, показались бы скучными.

"Перестаньте же уверять, что вы меня любите, - продолжала Надя писать, думая об офицере Горном. - Поверить вам я не могу. Вы очень умны, образованны, серьезны, у вас громадный талант и, быть может, вас ожидает блестящая будущность, а я неинтересная, ничтожная девушка, и вы сами отлично знаете, что в вашей жизни я буду только помехой. Правда, вы увлеклись мною и вы думали, что встретили во мне ваш идеал, но это была ошибка, и вы теперь уже спрашиваете себя в отчаянии: зачем я встретил эту девушку? И только ваша доброта мешает вам сознаться в этом!.."

Наде стало жаль себя, она заплакала и продолжала:

"Мне тяжело оставить маму и брата, а то бы я надела монашескую рясу и ушла, куда глаза глядят. А вы бы стали свободны и полюбили другую. Ах, если бы я умерла!"

Сквозь слезы нельзя было разобрать написанного; на столе, на полу и на потолке дрожали короткие радуги, как будто Надя смотрела сквозь призму. Писать было нельзя, она откинулась на спинку кресла и стала думать о Горном.

Боже мой, как интересны, как обаятельны мужчины! Надя вспомнила, какое прекрасное выражение, заискивающее, виноватое и мягкое, бывает у офицера, когда с ним спорят о музыке, и какие при этом он делает усилия над собой, чтобы его голос не звучал страстно. В обществе, где холодное высокомерие и равнодушие считаются признаком хорошего воспитания и благородного нрава, следует прятать свою страсть. И он прячет, но это ему не удается, и все отлично знают, что он страстно любит музыку. Бесконечные споры о музыке, смелые суждения людей непонимающих держат его в постоянном напряжении, он напуган, робок, молчалив. Играет он на рояле великолепно, как настоящий пианист, и если бы он не был офицером, то наверное был бы знаменитым музыкантом.

Слезы высохли на глазах. Надя вспомнила, что Горный объяснялся ей в любви в симфоническом собрании и потом внизу около вешалок, когда со всех сторон дул сквозной ветер.

"Я очень рада, что вы, наконец, познакомились со студентом Груздевым, - продолжала она писать. - Он очень умный человек, и вы, наверное, его полюбите. Вчера он был у нас и просидел до двух часов. Все мы были в восторге, и я жалела, что вы не приехали к нам. Он говорил много замечательного".

Надя положила на стол руки и склонила на них голову, и ее волосы закрыли письмо. Она вспомнила, что студент Груздев тоже любит ее и что он имеет такое же право на ее письмо, как и Горный. В самом деле, не написать ли лучше Груздеву? Без всякой причины в груди ее шевельнулась радость: сначала радость была маленькая и каталась в груди, как резиновый мячик, потом она стала шире, больше и хлынула как волна. Надя уже забыла про Горного и Груздева, мысли ее путались, а радость всё росла и росла, из груди она пошла в руки и в ноги, и казалось, будто легкий прохладный ветерок подул на голову и зашевелил волосами. Плечи ее задрожали от тихого смеха, задрожал и стол, и стекло на лампе, и на письмо брызнули из глаз слезы. Она была не в силах остановить этого смеха и, чтобы показать самой себе, что она смеется не без причины, она спешила вспомнить что-нибудь смешное.

- Какой смешной пудель! - проговорила она, чувствуя, что ей становится душно от смеха. - Какой смешной пудель!

Она вспомнила, как Груздев вчера после чаю шалил с пуделем Максимом и потом рассказал про одного очень умного пуделя, который погнался на дворе за вороном, а ворон оглянулся на него и сказал:

- Ах ты, мошенник!

Пудель, не знавший, что он имеет дело с ученым вороном, страшно сконфузился и отступил в недоумении, потом стал лаять.

- Нет, буду лучше любить Груздева, - решила Надя и разорвала письмо.

Она стала думать о студенте, о его любви, о своей любви, но выходило так, что мысли в голове расплывались и она думала обо всем: о маме, об улице, о карандаше, о рояле... Думала она с радостью и находила, что всё хорошо, великолепно, а радость говорила ей, что это еще не всё, что немного погодя будет еще лучше. Скоро весна, лето, ехать с мамой в Горбики, приедет в отпуск Горный, будет гулять с нею по саду и ухаживать. Приедет и Груздев. Он будет играть с нею в крокет и в кегли, рассказывать ей смешные или удивительные вещи. Ей страстно захотелось сада, темноты, чистого неба, звезд. Опять ее плечи задрожали от смеха и показалось ей, что в комнате запахло полынью и будто в окно ударила ветка.

Она пошла к себе на постель, села и, не зная, что делать со своею большою радостью, которая томила ее, смотрела на образ, висевший на спинке ее кровати, и говорила:

- Господи! Господи! Господи!

А.П. ЧЕХОВ.



*Не ищи лучшее, а ищи своё.
Ведь лучшее не всегда станет твоим,
зато своё - всегда лучше.*

За околицей, у речки...

За околицей, у речки,
Выйду я встречать рассвет.
Ты порадуйся, сердечко,
Краше света зорьки нет.
Заиграют цветом росы,
Разольётся запах трав,
Ночка спрячет чудо-косы,
В тишину молодых дубрав,
В сон уйдёт, забыв печали,
И заблудится во снах,
Снова заревые дали,
Затеряются в цветах.

Виктор Шамонин-Версенева
сайт «Свете Тухий»



**Каждое утро
перед нами стоит
ВЫБОР:
продолжать спать
и видеть прекрасные
сны,
или встать
и воплощать эти сны
в реальность.**



Русский дом

Я проникаю мысленно в тот мир,
Который назывался русским домом.
Пойду бродить по улицам знакомым:
Присутствие. Собрание. Трактир.

Торговлишко с лотков. Честной народ.
Суконный ряд. Материя по штукам.
Вода бежит по аркам акведука.
Вверх по реке - колёсный пароход.

Лотошники. Там сбить. Тут кисель.
Гуляй душа: осьмушка за полушку.
Пирог с начинкой. Сытная ватрушка.
Кружится в ритм шарманке карусель.

Под зонтиками, с нянями, чуть свет
На променад спешат мадмуазели -
Дворянки юные с фигурами газелей
В атласе-бархате прогулочных карет.

Погода радует. Желанная весна.
Поют в садах на праздничных берёзах
Скворцы. Давно отгрохотали грозы.
И синь небес глубиной ясна.

Сударыня, позвольте проводить.
Как Ваше имя?... Ангельские глазки.
Букет мимоз. Вы, будто бы из сказки,
Где бескорыстно можно полюбить.

Я проникаю мысленно в тот мир,
Который назывался русским домом.
Пойду бродить по улицам знакомым -
Былых времён я приглашён на пир.

Генндий Головин.
(Россия) США.



РАЗГОВОРЫ РАЗГОВОРЫ РАЗГОВОРЫ

Кто не видел Айседоры Дункан, Мод Аллан, Стефании Домбровской и прочих босоножек, разговаривающих ногами.

Многие русские артистки уже изучают это искусство. И хорошо делают. У нас, в России, это большое подспорье. Уж слишком плохо мы говорим языком. Не многие из нас могут быть уверены, что скажут именно то, что хотят. Рады, если дадут себя понять хоть приблизительно.

Ни на одном языке в мире нет такого удивительного оборота фразы, как например, в следующем диалоге:

- Уж и поговорить нельзя?
- Я тебе поговорю!
- Уж и погулять нельзя?
- Я тебе погуляю!

Весь смысл этих странных обещаний ясно заключается только в интонации, с которой произносится фраза. Вне интонации смысл утрачивается.

Переведите эту фразу французам. Тот удивится!

А я недавно слышала целый разговор, горячий и сердитый, когда ни один из собеседников ни разу не сказал того слова, которое хотел. Понимали друг друга только по интонации, по выпученным глазам и размахивающим рукам. Ах, как бы здесь пригодились хорошо дрессированные ноги!

Дело происходило в центральной кассе театров. Было это накануне какой то премьеры, так что народу в маленьком помещении кассы толпилось масса, давили друг друга, пролезали «в хвост». Вдруг появляется какая то личность в потертом пальто и быстрыми шагами направляется к кассе, не выжидая очереди.

Стоявший у двери швейцар остановил:

- Потрудитесь стать в очередь!

Личность огрызнулась:

- Оставьте меня в покое!

Тут и начался разговор. Оба говорили совсем не то, что хотели, с грехом пополам понимая друг друга по интонации.

- Тут не оставленья, а потрудитесь тоже порядочно знать! - сказал швейцар с достоинством.

Фраза эта значила, что личность должна вести себя прилично.

Личность поняла и ответила:

- Вы не имеете права через предназначенье, как стоять у дверей. И так и знайте!

Это значило: ты - швейцар и не суйся не в свое дело.

Но швейцар не сдавался.

- Должен вам сказать, что вы напрасно относитесь. Не такое здесь место, чтобы относиться! (Не затевай скандала!)

- Кто кому и куда - это уж позвольте, пожалуйста, другим знать! - взбесилась личность.

Что значила эта фраза, я не понимаю, но швейцар понял и отпарировал удар, сказав язвительно:

- Вы опять относитесь! Если я теперь тут стою, то, значит, совершенно напрасно каждый себя может понимать, и довольно совестно при покупающей публике, и надо совесть понимать. А вы совести не понимаете.

Швейцар повернулся к личности спиной и отошел к двери, показывая равнодушным выражением лица, что разговор окончен.

Личность сердито фыркнула и сказала последние уничтожающие слова:

- Это еще очень даже неизвестно, кто относится. А другой по нахальству может чести приписать на необразованность.

После чего смолкла и покорно стала в «хвост».

И мне представлялось, что оба они, вернувшись домой, должны же будут проболтаться кому-нибудь об этой истории. Но что они расскажут? И понимают ли сами, что с ними случилось?

Летом мне пришлось слышать еще более трагическую беседу. Оба собеседника говорили одно и то же, говорили томительно долго, и не могли договориться и понять друг друга.

Они ехали в вагоне со мною, сидели напротив меня. Он - офицер, пожилой, озабоченный. Она - барышня. Он занимал ее разговором о даче и деревне. Собственно говоря, оба они внутренне говорили следующую фразу: «Кто хочет летом отдохнуть, тот должен ехать в деревню, а кто хочет повеселиться, пусть живет на даче». Но высказывали они эту простую мысль следующим приемом.

Офицер говорил:

- Ну, конечно, вы скажете, что природа и там вообще... А дачная жизнь - это все таки... Разумеется...

- Многие любят ездить верхом, - отвечала барышня, смело смотря ему в глаза.

- А соседей, по большей части, мало. На даче сосед - пять минут ходьбы, а в де...

- Ловить рыбу очень занимательно, только не...

- ...деревне пять верст езды!

- ...неприятно снимать с крючка. Она мучится...

- Ну и, конечно, разные спектакли, туалеты...

- В деревне трудно достать режиссера.

- Ну, что там! Из Парижа специальные туалеты выписывают. Разве можно при таких условиях поправиться?

- Нужно пить молоко.

Офицер посмотрел на барышню подозрительно:

- Уж какое там молоко! Просто какая-то окись!

- Ах нет, у нас всегда чудесное молоко!

- Это из Петербурга-то в вагонах привозят чудесное? Признаюсь, вы меня удивляете.

Барышня обиделась.

- У нас имение в Смоленской губернии. При чем же тут Петербург?

- Тем стыднее! - отрезал офицер и развернул газету.

Барышня побледнела и долго смотрела на него страдающим взором.

Но все было кончено.

Вечером, когда он, сухо попрощавшись, вылез на станции, она что то царапала в маленькой записной книжке.

Мне кажется, она писала: «Мужчины - странные и прихотливые создания! Они любят молоко и рады возить его с собой всюду из Петербурга...»

А он, должно быть, рассказывал в это время товарищу: «Ехала со мной славненькая барышня. Но около Тулы оказалась испорченною до мозга костей, как и все современные девицы. Все бы им только наряжаться да веселиться... Пустые души!»

Если бы этот офицер и эта барышня не игнорировали школу великой Айседоры, может быть, их знакомство и не кончилось бы так пустоцветно.

Уж ноги, наверное, в конце концов заставили бы их сговориться!

Надежда Тэффи



Когда человек делает нам больно, то скорее всего, сам он – глубоко несчастен. Счастливые люди не хамят в очередях, не ругаются в транспорте, не сплетничают о коллегах. Счастливые люди в другой реальности. Им это ни к чему.



Любовь не возвращается...



Любовь не возвращается, быть может...
Она проходит, сердце теребя.
Но на рассвете выйдя осторожно,
Оставит дверь открытой уходя...

И в день весенний радостной капелью
Вновь постучит, прокравшись на порог.
Её не сможешь удержать за дверью,
Она придёт, уставши от дорог.

И ты её, ни в чём не упрекая,
Согреешь сердцем, сядешь у огня.
Она вернулась прежняя такая,
Она ведь не прощалась уходя...

Впустить её обратно так несложно,
Не позволяй ей мокнуть под дождём.
Любовь не возвращается возможно,
Но мы её с тобою подождём...

РАССКАЗ СТАРШЕГО САДОВНИКА



В оранжерею графов N⁷ происходила распродажа цветов. Покупателей было немного: я, мой сосед-помещик и молодой купец, торгующий лесом. Пока работники выносили наши великолепные покупки и укладывали их на телеги, мы сидели у входа в оранжерею и беседовали о том, о сём. В теплое апрельское утро сидеть в саду, слушать птиц и видеть, как вынесенные на свободу цветы нежатся на солнце, чрезвычайно приятно.

Укладкой растений распорядился сам садовник, Михаил Карлович, почтенный старик, с полным бритым лицом, в меховой жилетке, без сюртука. Он всё время молчал, но прислушивался к нашему разговору и ждал, не скажем ли мы чего-нибудь новенького. Это был умный, очень добрый, всеми уважаемый человек. Все почему-то считали его немцем, хотя по отцу он был швед, по матери русский и ходил в православную церковь. Он знал по-русски, по-шведски и по-немецки, много читал на этих языках, и нельзя было доставить ему большего удовольствия, как дать почитать какую-нибудь новую книжку или поговорить с ним, например, об Ибсене.

Были у него слабости, но невинные; так, он называл себя старшим садовником, хотя младших не было; выражение лица у него было необыкновенно важное и надменное; он не допускал противоречий и любил, чтобы его слушали серьезно и со вниманием.

- Этот вот молодчик, рекомендую, ужасный негодяй, - сказал мой сосед, указывая на работника со смуглым цыганским лицом, который проехал мимо на бочке с водой. - На прошлой неделе его судили в городе за грабеж, и оправдали. Признали его душевнобольным, а между тем, взгляните на рожу, он здоровехонек. В последнее время в России уж очень часто оправдывают негодяев, объясняя всё болезненным состоянием и аффектами, между тем эти оправдательные приговоры, это очевидное послабление и потворство, к добру не ведут. Они деморализуют массу, чувство справедливости притупилось у всех, так как привыкли уже видеть порок безнаказанным, и, знаете ли, про наше время смело можно сказать словами Шекспира: "В наш злой, развратный век и добродетель должна просить прощенья у порока".

- Это верно, верно, - согласился купец. - Оттого, что оправдывают в судах, убийств и поджогов стало гораздо больше. Спросите-ка у мужиков.

Садовник Михаил Карлович обернулся к нам и сказал:

- Что же касается меня, господа, то я всегда с восторгом встречаю оправдательные приговоры. Я не боюсь за нравственность и за справедливость, когда говорят "невиновен", а, напротив, чувствую удовольствие. Даже когда моя совесть говорит мне, что, оправдав преступника, присяжные сделали ошибку, то и тогда я торжествую. Судите сами, господа: если судьи и присяжные более верят человеку, чем уликам, вещественным доказательствам и речам, то разве эта вера в человека сама по себе не выше всяких житейских соображений? Веровать в Бога нетрудно. В него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте! Эта вера доступна только тем немногим, кто понимает и чувствует Христа.

- Мысль хорошая, - сказал я.

- Но это не новая мысль. Помнится, когда-то очень давно я слышал даже легенду на эту тему. Очень милая легенда, - сказал садовник и улыбнулся. - Мне рассказывала ее моя покойная бабушка, мать моего отца, отличная старуха. Она рассказывала по-шведски, но по-русски это выйдет не так красиво, не так классично.

Но мы попросили его рассказывать и не стесняться грубостью русского языка. Он, очень довольный, медленно закурил трубочку, сердито посмотрел на рабочих и начал:

- В одном маленьком городке поселился пожилой, одинокий и некрасивый господин по фамилии Томсон или Вильсон, - ну, это всё равно. Дело не в фамилии. Профессия у него была благородная: он лечил людей. Он был всегда угрюм и несообщителен и говорил только, когда этого требовала его профессия. Ни к кому он не ходил в гости, ни с кем не распространял своего знакомства далее молчаливого поклона и жил скромно, как схимник. Дело в том, что он был ученый, а в ту пору ученые не были похожи на обыкновенных людей. Они проводили дни и ночи в созерцании, в чтении книг и лечении болезней, на всё же остальное смотрели как на пошлость и не имели времени говорить лишних слов. Жители города отлично понимали это и старались не надоедать ему своими посещениями и пустой болтовней. Они были очень рады, что Бог наконец послал им человека, умеющего лечить болезни, и гордились, что в их городе живет такой замечательный человек.

«Он знает всё», - говорили они про него. Но этого было недостаточно. Надо было еще говорить: «Он любит всех!» В груди этого ученого человека билось чудное, ангельское сердце. Как бы ни было, ведь жители города были для него чужие, не родные, но он любил их, как детей, и не жалел для них даже своей жизни. У него самого была чахотка, он кашлял, но, когда его звали к больному, забывал про свою болезнь, не щадил себя и, задышавшись, взбирался на горы, как бы высоки они ни были. Он пренебрегал зноем и холодом, презирал голод и жажду. Денег не брал, и, странное дело, когда у него умирал пациент, то он шел вместе с родственниками за гробом и плакал.

И скоро он стал для города так необходим, что жители удивлялись, как это они могли ранее обходиться без этого человека. Их признательность не имела границ. Взрослые и дети, добрые и злые, честные и мошенники - одним словом, все уважали его и знали ему цену. В городке и в его окрестностях не было человека, который позволил бы себе не только сделать ему что-нибудь неприятное, но даже подумать об этом. Выходя из своей квартиры, он никогда не запирает дверей и окон, в полной уверенности, что нет такого вора, который решился бы обидеть его. Часто ему приходилось, по долгу врача, ходить по большим дорогам, через леса и горы, где во множестве бродили голодные бродяги, но он чувствовал себя в полной безопасности. Однажды ночью он возвращался от больного, и на него напали в лесу разбойники, но, узнав его, они почтительно сняли перед ним шляпы и спросили, не хочет ли он есть. Когда он сказал, что он сыт, они дали ему теплый плащ и проводили его до самого города, счастливые, что судьба послала им случай хотя чем-нибудь отблагодарить великодушного человека. Ну, далее, понятное дело, бабушка рассказывала, что даже лошади, коровы и собаки знали его и при встрече с ним изъясляли радость.

И этот человек, который, казалось, своею святостью оградил себя от всего злого, доброжелателями которого считались даже разбойники и бешеные, в одно прекрасное утро был найден убитым. Окровавленный, с пробитым черепом, он лежал в овраге, и бледное лицо его выражало удивление. Да, не ужас, а удивление застыло на его лице, когда он увидел перед собою убийцу. Можете же представить себе теперь ту скорбь, какая овладела жителями города и окрестностей. Все в отчаянии, не веря своим глазам, спрашивали себя: кто мог убить этого человека? Судьи, которые производили следствие и осматривали труп доктора, сказали так: «Здесь мы имеем все признаки убийства, но так как нет на свете такого человека, который мог бы убить нашего доктора, то, очевидно, убийства тут нет и совокупность признаков является только простою случайностью. Нужно предположить, что доктор в потемках сам упал в овраг и ушибся до смерти».

С этим мнением согласился весь город. Доктора погребли, и уже никто не говорил о насильственной смерти. Существование человека, у которого хватило бы низости и гнусности убить доктора, казалось невероятным. Ведь и гнусность имеет свои пределы. Не так ли?

Но вдруг, можете себе представить, случай наводит на убийцу. Увидели, как один шалопай, уже много раз судившийся, известный своею развратною жизнью, пропивал в кабаке табакерку и часы, принадлежавшие доктору. Когда стали его уличать, он смутился и сказал какую-то очевидную ложь. Сделали у него обыск и нашли в постели рубаху с окровавленными рукавами и докторский ланцет в золотой оправе. Каких же еще нужно улик? Злодея посадили в тюрьму. Жители возмущались и в то же время говорили: «Невероятно! Не может быть! Смотрите, как бы не вышло ошибки; ведь случается, что улики говорят неправду!»

На суде убийца упорно отрицал свою вину. Всё говорило против него, и убедиться в его виновности было так же нетрудно, как в том, что эта земля черная, но судьи точно с ума сошли: они по десяти раз взвешивали каждую улику, недоверчиво посматривали на свидетелей, краснели, пили воду... Судить начали рано утром, а кончили только вечером.

«Обвиняемый! - обратился главный судья к убийце. - Суд признал тебя виновным в убийстве доктора такого-то и приговорил тебя к...» Главный судья хотел сказать: «к смертной казни», но выронил из рук бумагу, на которой был написан приговор, вытер холодный пот и закричал: «Нет! Если я неправильно сужу, то пусть меня накажет Бог, но, клянусь, он не виноват! Я не допускаю мысли, чтобы мог найтись человек, который осмелился бы убить нашего друга доктора! Человек неспособен пасть так глубоко!»

«Да, нет такого человека», - согласились прочие судьи. «Нет! - откликнулась толпа. - Отпустите его!» Убийцу отпустили на все четыре стороны, и ни одна душа не упрекнула судей в несправедливости. И Бог, говорила моя бабушка, за такую веру в человека простил грехи всем жителям городка. Он радуется, когда веруют, что человек - Его образ и подобие, и скорбит, если, забывая о человеческом достоинстве, о людях судят хуже, чем о собаках. Пусть оправда-

тельный приговор принесет жителям городка вред, но зато, посудите, какое благотворное влияние имела на них эта вера в человека, вера, которая ведь не остается мертвой; она воспитывает в нас великодушные чувства и всегда побуждает любить и уважать каждого человека. Каждого! А это важно.

Михаил Карлович кончил. Мой сосед хотел что-то возразить ему, но старший садовник сделал жест, означавший, что он не любит возражений, затем отошел к телегам и с выражением важности на лице продолжал заниматься укладкой.



*Один не разберёт, чем пахнут розы.
Другой из горьких трав добудет мёд.
Кому-то мелочь дашь - на век запомнит.
Кому-то жизнь отдашь - а он и не поймёт...*

Омар Хайям.



А.П. Чехов.



Старики что дети

Старики что дети - говорим.
Говорим завидуя, конечно.
Нам непозволительна неспешность,
Мы дрожим над временем своим.

А они на карусели дней
Позабыли обо всём на свете.
Хорошо, что старики как дети.
Небеса открыты для детей!

Алексей Гушан.

«Свете тихий»



В мокрой чаще лесной
Стоит камень-горюч,
А под камнем кипит
Чистым омутом ключ.
Сильным сердцем стучит,
Промывая песок,
Одиноко грустит
Ручейка голосок.

Здесь деревня была
И детишки росли,
А теперь все поля
Трын-травой заросли.
Нету свадеб в сосняке,
И березник молчит,
Да иудин осинник
Листвой шелестит.

Где-то здесь, где-то здесь
Похоронен мой дед.
От погостов былых
Не остался и след.
Лишь забвенья трава
В буераках цветёт,
Дурноцветом пылит,
Злое семя несёт.

Моей родины кто же
Устроил разор?
Кто отправил её
В нищету и позор?
В нищету и позор?
Иль хазары прошли?
Где ж ты, вещий Олег?
Где моя ты, защита,
Где ты, мой оберег?!



Я багряные гроздья
Калины сорву,
Упаду, припаду
На траву-мураву.
С моей родиной тихой
Я связан судьбой,
За неё хоть на смерть,
Хоть на праведный бой.

Геннадий Русских.

Возвращение



- Отчего ты несчастен, брат?
- Я так верил в Бога, молился, надеялся, а он не пришел...
- Но ты бы мог справиться сам.
- Мог бы... Но ведь и в твоих глазах блестит слеза!
- А я надеялся только на себя, когда никто, кроме Бога, спасти меня уже не мог.

Брат? Друг? Кто ты, взирающий на меня? Ах, зачем лицо твое - такое родное - так незнакомо? Здравствуй же, здравствуй. Какая встреча, не правда ли? Но ты молчишь и ничего не скажешь.

Я приехал издалека. И вот, уже вечер. Мы сидим с тобой в полутемной комнате старого дома. Одни во всем мире. И за пыльным стеклом окна, перебитого снаружи широкой доской, уже нет ни души. Накануне лил дождь; безудержно и сладко. Слышал ли ты его? И сейчас по застрехам ветхой крыши еще гуляет вода.

Какие знакомые запахи! Жалко, что о них не сказать словами. Как ведь удивительно: все на свете имеет название, но только не запахи. А я все же попробую. Так пахнет лес на исходе осени, когда вдруг становится нестерпимо жалко кого-то или чего-то - быть может, тех дней, которым уже нет возврата, но которые навсегда залегли в памяти, и теперь снятся в самые трудные и невероятно светлые дни твоей жизни. Наступит лето, другое, пролетят годы, и ты однажды вернешься в тот бушующий лес. И не найдешь ни того широкого дуба, под которым любил отдыхать после долгой дороги, ни той тропы, что исходил сотни раз, а потому выучил каждую ее излучину, ни тихого ручья, из которого смотрел на тебя белокурый мальчик. Но, как прежде, овеет тебя откуда-то с высоты легкий ветерок, и ты угадаешь в нем родные запахи, и захочется тебе плакать: безудержно и сладко.

Я встал, поскрипывая половицами, чтобы осмотреть нашу горницу. Много лет здесь не было ни души; много лет тут не раздавалось человеческого голоса. Ото всего остался лишь мертвый образ прошлого, отпечаток некогда веселой жизни. Да и тот едва ли похож на заветные воспоминания и сны. На полу покоится разбитый цветочный горшок; земля то ли смешалась с пылью и сором, то ли сама обратилась в прах, а цветка нет и в помине. Как щемит сердце... Я закрываю глаза - так комната предстает передо мной иначе: яркий свет воскресного утра проникает сквозь распахнутое окно, неся с собой аромат цветущих на подоконнике гардений; с трепетом, восторгом, предвкушением детского счастья я обращаюсь взором к бабушке: она в бархатном платье стоит перед кивотом и, опустив голову, читает утреннюю молитву. Я раскрываю глаза: из-под толстой завесы паутины с укором глядят на меня почерневшие лики святых. Простите меня... А сколько дорогих сердцу вещей погребено под этой немотой и темнотой! Пузатое кресло, в которое я любил нырять, вернувшись из гимназии, и дремать в нем под звуки рояля, доносившиеся из гостиной, пока меня не будил самый родной на свете голос; буфет - старинный, величественный, до самого потолка, пропахший воском и медом; подозрительно смолкнувшие напольные часы - все обтянуто черным саваном. На кровати лежит раскрытая книга с заложенной между страницами восьмеркой пик; подхожу, ближе, смотрю: книга Екклесиаста.

Думал ли ты, предполагал, что мы с тобой встретимся? Но вот я здесь, и ты смотришь на меня, не отрывая взгляда. Я отчетливо разбираю на твоём лице каждую черту: ровные седые волосы, потухшие зеленые глаза, глядящие на меня открыто и безучастно, две глубокие морщины над переносицей... Все это до боли мне знакомо. Друг? Брат? Кто ты?

Знаешь, все чаще берет меня досада. Досада за себя, за всю свою жизнь, которая теперь, под конец, представляется мне открыто и просто. Жизнь эта кажется мне долгим походом в гости к нерадивому хозяину: стол его беден, музыки нет, да и поговорить не с кем. Чай допит, все дежурные фразы сказаны. И мы молча сидим, боясь взглянуть друг другу в глаза: он от неловкости, а я из жалости к нему. Уйти - значит, обидеть его, выказать невежество. Остаться - обречь и себя, и его на скуку.

Ты только взгляни, как низко уже солнце! Скоро начнет темнеть, а в доме нет ни одной лампы. Может быть, остались свечи? Я приподнял черную ткань с буфета, чтобы проверить ящики: очки в толстой оправе, шитье, спицы, несколько авторучек, пустой истершийся тюбик с

неведомой мазью, деревянный гребень; в другом - пусто, и только один огромный портрет, ничком, с черной ленточкой наискосок; взбившаяся пыль подкатила к горлу и застлала глаза, отчего выступили слезы; за резными дверцами - пустые банки и рассыпанная вдоль сгиба мука; наконец, на самом верху - сверток окоченевшей газеты, а в нем письма. Среди них и письмо от меня.

После нашей разлуки и вплоть до последнего своего дня она писала постоянно. Должно и почти всегда одно и то же: звала, говорила, что очень ждет, любит и надеется увидеться, обещала, что бережет мой деревянный гребешок «пуще иконки». Отвечали ей всегда родители или братья. А я написал ей лишь однажды, в самом начале, когда пришла от нее первая весточка; да и то, набросал на скорую руку разные пустяки. А о самом главном так и не сказал.

Жил я всегда праздно. Часто сетовал на судьбу, мол, не дала она мне того, что я так хотел, не воплотила моих прихотей. А ныне понимаю, что и не нужно мне было всего этого. А то, в чем я действительно нуждался, всегда было передо мной. Оттого-то жизнь и казалась мне скудной и неинтересной.

И вот я вернулся. Почти ничего не изменилось с тех пор, как я был тут в последний раз, вся обстановка сохранилась прежней и, в этом навеки запечатленном историей положении, дожила до сего дня. Но отчего же тогда все так пусто и чуждо? Так умерший человек пугает своей инаковостью и вызывает недоумение: каким образом это давно знакомое лицо могло столь исказиться, сделаться пустым и таким незнакомым?

Где-то там солнце уже перевалило за горизонт, оставив после себя красное море, а тут, в комнате, стало сумеречно. Мебель и стены куда-то отдалились, поблекли. Но твой облик я различаю вполне, хотя уже и не так отчетливо, как прежде: темные, беспорядочно растрепанные волосы, впалые щеки, беспокойный и даже тревожный взгляд... И мне показалось, что я узнал в этих зеленых глазах, полных отчаянного страха, кого-то очень близкого. Но кого? Кто же ты? Брат или друг?

Ты молчишь. Страшно тебе? Что и говорить - конечно, страшно. Но это ничего - пройдет. Все проходит. Прошли радости, пройдут и невзгоды. В грядущие дни все будет забыто. А уже смеркается.

И вдруг в этой темной, тихой комнате, чуть озаряемой далеким багряным разливом, стало нестерпимо душно, беспокойно и даже тревожно. Необъяснимый животный страх пробрал меня насквозь. В недоумении я опустился на кровать, настораживаясь, прислушиваясь. Но не было слышно ровным счетом ничего, даже стука собственного сердца.

Страх... Какой кругом страх! Только представь, повсюду, куда ни глянь, о чем ни подумай, везде один страх. Страх, как основа основ, первопричина всех чувств. Природа благосклонна к человеку, она наделила его столькими эмоциями, бесконечной палитрой ощущений. И все для чего? - только, чтобы скрыть ужас, позволить человеку о нем если не забыть, то хотя бы не испытывать его денно и нощно. Отбери у человека все ощущения, и он погиб от страха. Впору было бы исчезнуть под тремя одеялами, накрыть голову подушкой, но и тогда бы я не скрылся от изнемогающего кошмара, ибо был он во мне самом. Все чувства и желания вмиг пронеслись передо мной как в калейдоскопе - так проносятся останки разрушенного стихией высокого здания. Мне хотелось всего и сразу. Страх имеет черный цвет. Несомненно. Каждая эмоция - всего лишь частица страха, но она радужна; и только все вместе они приводят к беспросветности. А среди этих холодных мертвых стен и есть она - беспросветность.

Я бросился к окну. Стекло давно пошло трещинами, и прикасаться к нему было опасно. Створы отсырели и взбухли, краска облупилась, обнажив прогнившее дерево. С трудом отворив ржавую щеколду, я дернул за ручку окна, но оно не поддавалось. Тогда я с предельной осторожностью под всеобщее дребезжание и звук осыпающейся штукатурки отковырял и приподнял фрамугу. Пахнуло свежестью.

Этот дом в старорусском стиле выстроил мой прадед - уважаемый в свое время человек, его портрет и поныне висит в гостиной (только накрыт он черной материей). Он полагал, что его усадьба - высокая в два этажа и флигелем - станет семейным гнездом, что в ней будет жить все его многочисленное потомство. В большом саду он разбил английский парк, высадил замысловатые деревья и цветы, привезенные им откуда-то из-за границы. Комнаты украсил дорогими картинами и коврами, всюду расставил огромные вазы с декоративными цветами, мраморные фигурки животных.

Я их едва помню. Они приводили меня в трепет, и я старался на них не смотреть. Зато я хорошо помню тот день (шел мне тогда семнадцатый год), когда произошло что-то невообразимое. В одну июньскую ночь - такую же свежую, как и сейчас, - накануне большой охоты, кото-

рую мы затеяли с братьями еще задолго до наступления лета, дом наполнился суетой и тревожными голосами. Я спросонья глянул во двор: там, среди спящих людей стоял отец и отдавал какие-то распоряжения; из раскрытой парадной варварски выносили наши вещи. Здорово же я тогда испугался! Но тут в комнату вошла взволнованная мать, посмотрела на меня блестящими глазами и, накрыв мягкой шалью, прижала к себе. Затем были долгие дни скитаний: бараки, покосившиеся избы в безымянных весях, полуподвалы и, наконец, дальняя поездка в поезде, а после - снова долгие дни скитаний, но уже под ослепительным небом.

Страх той ночи не ушел никуда. Напротив, с годами он возрастал. Сначала он был неприличен; казался чем-то временным, проходящим, безобразным и мучительным сном, который следует лишь переждать, вытерпеть, и тогда он кончится, и все опять пойдет своим чередом. Но с годами он утвердился, превратился в неизбежность, с которой можно только мириться. И когда с течением лет я остался совсем один, этот страх овладел мной совершенно. В самые черные, беспросветные минуты я чудом сдерживал отчаянный порыв, чтобы сохранить хоть лучик трезвой мысли в помраченном рассудке.

Долго я стоял у окна, полной грудью вдыхая вечерний воздух, точно не дышал целую вечность, а теперь вот от жадности хотел надышаться на тысячу лет вперед. Простоял бы и еще неизвестно сколько, забыв обо всем на свете, не замечая и тебя, если бы не ощутил на себе прямого твоего взгляда.

- Какой приятный холодок, - сказал я. И обернулся. Комната стала почти незаметной: все обратилось в прозрачные силуэты, в расплывчатые и неуловимые тени.

Но ты по-прежнему здесь, красивый, с роскошными вьющимися волосами, увенчанный ромашковым венком, и зелень твоих одухотворенных глаз устремлена на меня. Я вспомнил этот восторг легкости и счастья. Но, скажи мне, в чьем лице я их видел? Кто же ты, наконец? Друг? А, может быть, брат?

А все-таки, братец, истинная радость в красоте. И смысл всего сущего тоже в ней - в красоте чувств, мыслей, поступков. Все так просто и понятно как никогда. А красота - она повсеместна, умей ее только признать. Блаженны те дни, когда она исходит ото всего, и ты можешь еще найти ее незамутненным взором. Тогда все кажется тебе незначительным, и каждая минута несет в себе беспечность и упоение.

Небом овладела полная луна. Окно доселе грязное, непроглядное растворилось или окончательно рассыпалось в мелкие осколки, ибо не было его вовсе; а была только чистота и глубина, и на меня дышала погожая, еще не до конца определившаяся, но уже полновластная ночь. Последние выгоревшие воздушные барханы распластались на просторах вселенной и теперь грозились вот-вот кануть в прошлое, засыпав последнюю небесную свечу, долженствующую быть раскаленной, однако, на самом деле, источавшую вечный холод. Там, откуда я приехал к тебе, от вечернего неба всегда исходит жар, а тут свежо. Я и забыл, как прохладны эти края даже в июне.

А однажды ранним летом здесь и вовсе несколько дней кряду шли проливные дожди. Бывало, бледным утром, чуть ли не на рассвете, в розовом тумане, шли мы с Ней - два наивных подростка - по тем пустынным холмам, слушая голос дальней птицы. Я играл на свирели, а она смеялась. Чему? Бог весть. Но в смехе этом отражался восторг легкости и счастья. Потом случалась неожиданная гроза (свирепая, бушующая), и мы с ней, смеясь уже вместе, бежали под широкую сень громадных деревьев. В ее играющих лазурью глазах светилась непобедимая надежда, и всякая стихия против нее представляла смешной и нелепой. Когда же небо стало чистым, а воздух наполнялся ароматом мокрой травы, являлась высокая радуга, и мы отправились искать златокрылую Ириду. По дороге она - в непременно синем сарафане - ловко, как добрая волшебница, срывала цветы, а затем выплетала из них стройные венки, которые мы до самого вечера сплавляли по большой воде, сидя на старом каменном мосту, за рошей над рекой.

И лишь на горизонте появлялся алый свет, она вновь вела меня на отлогий холм - наблюдать закат. А я читал ей стихи давно забытого поэта:

Как робок алый свет на склоне дальних гор
Средь призрачных вершин, объятых полумраком!
Проснется кроткий луч и, будто бы от страха,
Сокроет в тишине покорный взор.

Унылый день прошел незримо, не спеша.
Еще томится тень его былых блужданий
Под сению надежд, бесплодных ожиданий,
Но тщетно все: пора, пора пришла!

Спустя годы и до сего дня, в желании испытать тот незабываемый юношеский восторг легкости и счастья, неоднократно обращался я взором к уходящему солнцу, но всякий раз

терпел неудачу: уж очень печальным казалось мне это действие, какая-то странная мысль неизменно приходила в голову, что-де столько-то человек сейчас вместе со мной видят последние в своей жизни лучи солнца, что для них никогда уже не наступит рассвет. А теперь и мой черед.

Я подошел беззвучным шагом к тебе и сел супротив. Все пропало, померкло в черной мгле. Не видно более ничего, как ни вглядывайся в сумрак. Только твое лицо в отражении далекой луны, выплывающее из небытия, - белокурое, чистое, безо всякого следа греха, словно ангельское. Я признал светлый взгляд твоих изумрудных очей. Я узнал тебя. Узнал! Несколько минут мы смотрели друг на друга, молча, сознавая все. Целая жизнь пролегла между нами. И ты, улыбаясь детскими глазами, не укорял меня более ни в чем.

Подняв с пола черный плед, я накрываю им зеркало. Теперь я совершенно один в полной тьме. Нет даже луны. Ничего нет. Но надо идти. Пора, пора пришла. Перекрестившись на прощание, я шагаю прочь, в неизвестность; яркий теплый свет поглощает все сущее. Не имея начала, не имея конца, он светит вовсе не как солнце или электрическая лампа, он не ломит глаз, не заставляет щуриться, все в нем привычное, родное, - быть может, нечто такое, к чему я стремился всю жизнь, откуда ушел давным-давно, а теперь вернулся. В нем нет ничего, но в нем есть все. Необычайная легкость и радость наполнили мою душу. Установилось какое-то великое спокойствие настоящего возвращения, встречи с самим собой. Ничего более не хочется, ничего не нужно: самое главное отныне и навеки со мной.

И все так легко и понятно. Как долгожданный вздох облегчения после тягучего, мучительного сна - вздох, который уже никто никогда у меня не отнимет.

Демьян Баритонов.
Тегеран.

Не забывай, что ты
не одинок:
И в тяжкие минуты
с тобою рядом БОГ.
Омар Хайям.



*Во времена всеобщей лжи
говорить правду -
это экстремизм.*
Джорж Оруэлл.

СЕДОВЛАСЫЙ КНЯЗЬ

Когда-то в усадьбе дворянской,
Сидел на веранде под вечер
Задумчивый князь седовласый.
В хрустальном сосуде с наливкой
вишнёвой закат отражался.
Сидел князь и думал: «Всё в прошлом:
Походы, сраженья, победы...
А ныне, сию, прозябаю.
Однажды умру. Не узнаю,
Что будет вот с этой усадьбой,
Что с родиной будет - с Россией,
За честь и свободу которой,
Сражался я кавалеристом,
С французской несметной ордою...»

Лучи догорели заката. Стемнело.
Опёрся о палку, поднялся,
И грустно вздыхая,
Побрёл в одиночестве в спальню.

Генндий Головин.
(Россия) США.



Высокий белый зал, где черная рояль
Дневной холодный свет, блистая, отражает,
Княжна то жалобой, то громом оглашает,
Ломая туфелькой педаль.
Сестра стоит в диванной полукруглой,
Глядит с улыбкою насмешливо-живой,
Как пишет лицеист, с кудрявой головой
И с краской на лице, горячею и смуглой.
Глаза княжны не сходят с бурных нот,
Но, что гремит рояль, - она давно не слышит,
Весь мир в одном: «Он ей в альбомы пишет!»
И жалко искривлен дрожащий, сжатый рот.

1919

Иван БУНИН.

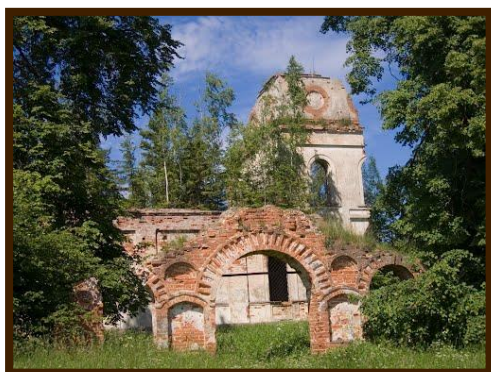
*Если вдруг вы стали
для кого-то плохим,
значит много хорошего
было сделано
для этого человека.*
Л. Толстой.



Видение



Рассказ



Мы отдыхали, лежали на пригорке в тени столетней плакучей березы, курили и смотрели на развалины деревенской церкви. Стояла самая середина лета, теплый ветер нес с цветущих лугов сладкую пыль, порою гнал по их косякам волну, и все время, не переставая, однообразно шумела над головой могучая крона. Я поднял голову - солнце пылало почти в зените, а синева неба была настолько густой и глубокой, что казалась нездешней, тропической. «Господи, хорошо-то как», - подумал я, оглядываясь кругом. Недалеко от развалин, ближе к реке обосновалась крохотная пасека, - пяток ульев, разбросанных среди старых яблонь, - а чуть даль-

ше омшаник и домишко старика, угощавшего давеча нас медом. Поставил на пенек перед избой эмалированный таз, где вместе с тягучим нектаром, плавали кирпичные обломки сот, а рядом ведро ледяной воды из колодца и, усмехнувшись, сказал:

- Без ей никак нельзя, а так в аккурат будет.

- Что ж, дед, - не скучно здесь одному на отшибе?

- А на кой она мне, деревня-то. Чего я там не видал?

- Да ведь как, сосватал бы старушку - все, глядишь, не один.

- А на кой она мне, старушка-то. Чего мне с ей делать? Мне окромя собаки да кошки ничего не надо, привык...

Еще дальше за пасекой, за песчаным обрывом реки, источенным раковинами птичьих гнезд, на многие километры тянулись леса, фиолетовым обручем стягивая горизонт, и вся картина, исполненная неги, чистоты и покоя, будила мысли о временах старозаветных, загадочных.

- Когда я смотрю на эти руины, мне хочется выть от отчаяния, - сказал один из нас, художник с ястребиным носом, с бледно-голубыми пронзительными глазами. Он встал на колени, сложил на груди мускулистые руки и некоторое время стоял так, с торжественной строгостью глядя перед собой. Потом театрально закончил: - Не задумываясь, отдам обе ноги и левую руку за возможность воочию видеть допетровскую Русь. Эх! Не в свое время родился я, не в свое...

- Полностью согласен, - тотчас заявил, поворачиваясь на бок, поэт - молодой человек с деланно мрачным, бородатым лицом дровосека. - Я тоже чужой на этой мусорной свалке, именуемой новым столетием. Да что говорить! Порой мне кажется, и вера в Бога уже не та, что прежде, и не возрождается она, как повсюду твердят, а вырождается непонятно во что.

- Вера. Да причем здесь вера, - с досадой возразил художник. - Дело не в вере, а в верующих, люди теперь стали не те. Они не верят в чудеса, в жизнь после смерти... то есть, может, они и хотят, да не могут, не получается. Почему? Вот вам набросок с натуры. Был я, как-то под Рождество в нашем Успенском соборе, стоял, слушал пение хора и, вдруг, вижу: входит юноша лет семнадцати и потому, как робко приближается к небольшой группе верующих у амвона, понимаю, что в церкви он в первый раз. Подошел, остановился недалеко от меня, и замер с расширенными глазами, пораженный, конечно, и внутренним великолепием убранства, и чистотой голосов, плывущих с хоров под сводами церкви. Одного он не сделал - не снял по незнанию шапки, а предупредить я его не успел. Тут к нему подбегает, похожая на ведьму, гнутая старуха в черном, - из тех, что шатаются там с утра до вечера, - подбегает, и с силой срывает с него шапку. И столько было в змеиных глазах ее холода, когда она прошипела: «нехристь несчастный», что мне стало не по себе. Лицо юноши мертвенно побледнело, а от испуга и растерянности на глазах его выступили слезы. Он забрал у нее шапку, опустил голову и торопливо направился к выходу. Какие, скажите, понятия могла внушить ему о вере эта карга с ее казарменными ухватками? А ведь именно она в ту минуту являлась для него олицетворением православного человека. Какие уж тут чудеса. Какое тут, к черту, бессмертие...

Пока художник предавался воспоминаниям, а поэт мрачно вторил ему, наш четвертый приятель, до сих пор не проронивший ни слова, сидел у березы и пил из термоса квас. О нем следует сказать особо, поскольку, собственно, благодаря ему и ведется этот рассказ. Он приходил к художнику шурином, был значительно старше нас и слыл мужчиной сугубо практическим, с

успехом занимался коммерцией и другими серьезными делами, а нрав имел суховатый, несколько замкнутый, при всем этом оставаясь человеком добрым и искренним. Звали его Иваном Романовичем. Ростом он был невелик, туловищем коренаст, с большой головой и коротким, побитым сединой волосом. Он носил выпуклые, дымчатые очки в золотой оправе, а лицо его было самое обыкновенное - широкое спокойное лицо учителя сельской школы. За последний месяц он уже дважды выезжал с нами на природу и, судя по нему, остался, вполне доволен. Когда художник умолк, Иван Романович поставил термос между колен, снял очки и, сдвинув брови, сказал, ни к кому в отдельности не обращаясь:

- Все это очень неприятно, я имею в виду выходку той фанатичной старушки, но не так уж и страшно. Куда неприятней нынешнее поголовное лицедейство, когда, к примеру, разодетые в пух и прах барышни являются в церковь, как в театр, из желания не столько увидеть спектакль, сколько принять в нем участие. Невероятно, но факт: на церковь повальная мода. Сколько раз я наблюдал, как появляются там эти новообращенные грешницы, демонстрируя публике дорогие меха и сногшибательные драгоценности. И все это с притворным смирением, с лживой скорбью лица. Быть такой грешницей - необычайно модно. Я, разумеется, не против мехов и прочего, но церковь, повторяю, не театр, и выглядеть тут нужно скромнее. И всего печальнее то, что церковь нынешнюю все это, похоже, устраивает. И фанатичные старушки в облике надзирателей, и святая вода прихожанам, напрямую из грязной бойлерной, и лицемерные господа, для которых служители Божьи готовы теперь на многое - не только освятить новый комфортабельный бордель в центре города, но, как в той сказке про попа: заплатил мужик, как следует, так он издохшую собаку отпел в царствие небесное. Все повторяется, молодые люди, но с той лишь разницей, что батюшка современный куда наглей и бессовестней своего туповатого предшественника - анекдотического пьяницы и любодея...

- Но женщина, всегда останется женщиной, даже в церкви, - заметил поэт. - Это у них в крови.

- А теперь относительно чудес, - снова заговорил Иван Романович, но неожиданно замолчал, задумавшись, покусывая стебелек одуванчика.

Наконец, нетерпеливый поэт обратился к нему:

- Вы, кажется, сказали - чудес. Каких чудес, Иван Романович?

Иван Романович поправил очки и смущенно ответил:

- Самых настоящих, конечно. Но, может быть, вам неинтересно?

Мы немедленно возразили и приготовились слушать.

- Имейте в виду, рассказчик я никудышный, но, уверяю вас, все случившееся со мной истинная правда, и до сегодняшнего дня никто об этом не знал, за исключением моей супруги. Эта маленькая тайна много лет согревает мне душу. Мне всегда казалось, если я сообщу о ней, во-первых мне не поверят, а во-вторых все чары развеются и я лишусь своего бесценного подарка, обладателем которого так неожиданно стал. Но сегодня, слушая вас и глядя на развалины церкви, я вдруг подумал: пусть люди знают, что чудеса бывают не только в библейских писаниях. Тут среди нас находится писатель, - добавил он, указывая на меня, - и если он напишет правдивый рассказ, отчасти похожий на сказку, я буду искренне рад, потому, как уверен - правда всегда отыщет путь к сердцу читателя.

Он пустил термос по кругу, и когда мы напились и с удовольствием закурили, неторопливо начал:

- Случилась эта необычная история лет тридцать назад, в те времена, когда я работал в одной торговой конторе и попутно оканчивал заочное отделение Плехановского института. Мать моя, женщина глубоко верующая, окрестила меня, а позже и сестру, в самом раннем детстве, так что, сколько я себя помню, верить в Бога для меня было так же естественно, как, например, дышать или пить воду. Я никогда особенно не задумывался, не философствовал на тему: что такое есть вера в Бога и Сам Бог, просто верил и все, но без фанатичного подобострастия, оно всегда мне претило. Отец, партийный чиновник, человек холодный и молчаливый, занимал в нашем городе ответственный пост, но и он, как я позже узнал, был крещеным и верующим. Конечно в школе, а потом и на работе не догадывались, что я посещаю церковь, читаю Библию и по возможности соблюдаю пост. В школе меня засмеяли бы, а на работе смотрели бы, как на реликт, выброшенный морем на сушу. Такая перспектива меня не устраивала. Я знал, что быть не таким, как все, в нашем обществе крайне обременительно и потому старался не выделяться, правда, в силу характера был необщителен, не принимал участия в коллективных дискуссиях на службе, но это только играло мне на руку - начальство не любит болтливых. И, все-таки, человеком я слыл себе на уме, а некоторые до сих пор видят в моей замк-

нутости, либо корыстолобивый расчет, либо самое обыкновенное бездушие. Бог с ними, я не в обиде. Я и в самом деле никогда не имел близких друзей, как-то уж так получилось, а все мои знакомства не выходят за рамки практического, делового свойства. Нелегко я сходилась и с женщинами. Не то чтобы я бежал их общества, нет, но в большинстве своем они казались мне существами пустыми, болтливими, мысли и желания их были примитивны, а поведение отличалось жадной игрой, самолюбования и позы. Не отрицаю, я идеализировал женщину, вероятно поэтому, и женился так поздно. Но встретил я именно ту, о которой мечтал, и опять-таки не без Божьей помощи, поскольку знакомство наше состоялось в церкви, сразу по окончании службы. Мы оказались рядом, шли рука об руку к выходу, и когда вышли на обледенелую паперть, я осторожно поддержал ее за локоть, а она улыбнулась и благодарно кивнула. Да, именно так все и было... Но, кажется, я заболтался, тем более это не относится к делу.

- К делу относится все, - не замедлил вставить поэт. - И кто вам брякнул, что вы никудышный рассказчик? Продолжайте, Иван Романович, я весь внимание.

- Не ты один, - вставил художник, покосившись на шурина. - Я часто беседую с Ириной Викентьевной на самые разные темы, вы знаете, как я ценю ее мнение, но о вашем романтическом знакомстве узнал только сегодня... Да и не только о нем, - закончил он, обиженно дернув губой.

- Ну-ну, - сказал Иван Романович, - возьми-ка вот, хлебни лучше квасу, дай Бог здоровья этому пасечнику. Итак, на чем я остановился?

- На том, как вы познакомилась в церкви, - ответили мы.

- Так. В церкви. Верно. Думаю, церковь и явилась связующим звеном между мной и теми странными событиями, что последовали вскоре за ее посещением. Нет, я говорю не о том дне, когда познакомился с Ириной, а о более раннем времени. В тот год я уехал в Москву на сессию, недурно выдержал экзамены и решил позволить себе вполне заслуженный отдых.

Я поехал в Рославль, старинный провинциальный город километрах в трехстах от Москвы, где жила моя тетька, и там у нее, в просторном бревенчатом доме с беседкой в яблонево саду, провел две чудесные и самые спокойные в моей жизни недели. Сад был старый, запущенный, по ночам в нем пел соловей, а днем среди яркой зелени переливалась на солнце паутина и на цветах по-хозяйски гудели шмели. Последний раз я был у тетки, будучи школьником, и все-таки по приезде, сразу отметил, как мало она изменилась - разве что сизым стал румянец на скулах, да еще уплотнилось короткое, большегрудое тело, еще тоньше и суше стали ноги, обутые в мягкие тапки без задников. Ко мне она относилась по-старушечьи ласково, но без умиления, не суежилась без толку, словом, предоставила меня самому себе, занимаясь в основном тем, что утром готовила завтрак и до обеда уходила к соседке, где за разговорами они выпивали бутылочку вина, а после сидели у калитки, покуривая папиросы. Их роднило не только то, что обе в войну потеряли мужей, но и то, что после войны они так и не вышли замуж, при этом не особенно оберегая вдовье целомудрие, которое так любили обсасывать писатели и драматурги советского времени. Но это я так, между прочим...

К обеду она возвращалась, собирала на стол и часа на два ложилась вздремнуть, а после опять уходила до вечера. Таким образом, повторяю, я был предоставлен самому себе, и не скажу, что вынужденное одиночество доставляло мне огорчение, более того, оно действовало почти наркотически. С тихой беспричинной радостью, а может, со сладкой печалью бродил я по зеленым улицам древнего города, смотрел на крепкие старинные дома, на их степенных владельцев, в большинстве своем пожилых и хозяйственных, шел по мощеной булыжником улице мимо красного кирпичного здания, где когда-то размещалась немецкая комендатура, и почти не встречал машин - лишь, изредка, мотоцикл или полупустой автобус нарушали своим рокотом этот патриархальный покой. И в таком вот счастливом однообразии прошли почти две недели. Незадолго перед отъездом, тем памятным воскресным днем, я отправился в церковь, трехглавый храм, сквозивший пролетами пустой колокольни, отстоял обедню и, подходя ко кресту, обратил внимание на то, как пристально посмотрел на меня седобородый священник, должно быть, удивленный моей молодостью.

И в самом деле, хотя людей собралось порядочно, все они были не первой молодости, проще сказать, старики. Я вернулся домой, спать лег раньше обычного, и приснился мне удивительный сон:

....Я стою внутри церковной ограды, а вокруг полным-полно празднично одетых ребят-шек, ну просто, как в детском саду. И все они что-нибудь держат в руках, кто кулич, кто пряник или конфету. В изумлении я огляделся, и у самой ограды, в отдалении от других увидел мальчика лет семи, одетого в белую рубашку и черные брючки, который, не мигая, смотрел на меня,

а потом сдвинулся и медленно пошел навстречу. И я тоже пошел к нему, почему-то спеша и немного волнуясь. Когда мы поравнялись, я присел и взял его за руки.

- А у тебя, почему нет ни булки, ни коржика? - спросил я его.

- Не принесли, - ответил он тихо, - уже давно не приносят. Только вот это, - он разжал пальцы, и я увидел на ладони несколько двадцатикопеечных монет. Я сжал его локти.

- Как же так, почему?

- Потому, что здесь у меня никого не осталось.

- А где же они?

- Мама и папа живут в вашем городе, - сказал он, вздохнув, - а бабушка умерла еще раньше.

- Понятно. А как же тебя звать-величать?

- Сережа.

- Так. И что же я должен делать? - спросил я, поражаясь своему спокойствию и рассудительности.

- Как приедете, зайдите на улицу Степную, номер двенадцать, и передайте, что я жду. Я и нынче их ждал в родительский день, да только они не приехали...

- Скажу, родной, обязательно скажу. - И я поднялся, держа его за руку.

- Ну, мне пора, - сказал он, указывая на распахнутые ворота церкви, куда гурьбой устремились дети. Я проводил его до входа, за которым не было ничего, кроме могильного мрака, и напоследок спросил:

- Ты сказал, Степная двенадцать, а номер квартиры?

- Это частный дом. Там почти все дома частные, вы должны знать об этом.

- Извини, запомнил.

- Это вы меня извините, - сказал он, и бросил взгляд на мрачно темнеющий вход. - Прощайте, спасибо за вашу доброту. И за веру. Но знайте, здесь все не так, как вы думаете, дядя Иван.

- А как же здесь? Как? - спросил я, испытывая сильную душевную муку.

- Я и сам не все понимаю, я ведь, маленький, - ответил он, и снова вздохнул. - Прощайте. И не спешите жить, живите подольше.

- Я сказал - сон... Нет, конечно, не сон, а самое настоящее видение, поскольку не только лицо его, но и многие лица детей я до сих пор помню так ярко и отчетливо, что, будь я художником, давно написал бы их.

- Невероятно, - еле слышно сказал поэт, закрывая глаза.

- Да-да! Говорю вам - истинно так! - разволновавшись до красноты ушей, настойчиво продолжал Иван Романович. - Утром я записал адрес в блокнот, хотя, собственно, и записывать-то не имело смысла, он отпечатался в моей голове навеки. Спустя два дня я вылетел из Москвы домой, и по прибытии, ближе к вечеру отправился на Степную...

Был это старый, похожий на деревню район на окраине города, где многие семьи в то время еще держали домашний скот, а кривые улицы с деревянными тротуарами и заглохшими колеями замысловато петляли, оканчиваясь, то тупиком, то переулком, этаким щелью между заборами, настолько тесной, что двум встретившимся прохожим, разойтись там было довольно сложно. Не без труда разыскал я в этом хаосе нужный адрес и, признаюсь, не без трепета надавил на щеколду и вошел во двор. Что ж, дом, как дом, небольшой, бревенчатый, рядом баня и нечто похожее на стайку. Двор чистый, поросший кудрявой травой с песчаными залысинами, с натянутыми поперек бельевыми веревками. Все это я разглядел, пока топтался у крыльца, не решаясь войти в открытые двери сеней, в то время как в доме (я услышал отчетливо) напряженный женский голос затянул колыбельный мотив.

- Э, да у них маленький ребенок, - подумал я и решил подождать, присел на ступеньку крыльца, размышляя о сложности предстоящего разговора, ни минуты, впрочем, не сомневаясь в правдивости своего видения. Да, с того самого мгновения в Рославле, когда я проснулся и записал адрес, я уже твердо знал, я был уверен, что все случившееся со мной неспроста, что волею судьбы я оказался жителем города, куда за тысячу верст переселились родители мальчика, и я обязан выполнить его просьбу. Одного я не знал: как повести разговор, не рискуя прослыть сумасшедшим...

Немного погодя пение прекратилось, а через минуту в глубине сеней мягко хлопнула дверь, ударил сквозняк и закрипели крашенные половицы. Я быстро поднялся. Передо мной, с вопросительно поднятыми бровями и ворохом ползунков в руках, стояла невысокая смуглая женщина в пестром ситцевом платье, несколько полная, черноволосая, черноглазая, с сине-

ватым пушком вдоль щек и над верхней губой. И тут меня одолели сомнения. Мальчик, явившийся мне той ночью, не имел с ней ни малейшего сходства. Он был типичный славянин, русые волосы, голубые глаза, а здесь чувствовалось присутствие совсем иной крови. Мысли мои смешались, я потерялся и вместо того, чтобы хоть что-то сказать, только тупо смотрел на нее, между тем, как пауза все затягивалась. Наконец, женщина нашлась, она с вежливой усмешкой спросила:

- Почему вы так на меня смотрите? Мне кажется, я вас не знаю.

- Не знаете, - подтвердил я, выходя из оцепенения. И тут же, не сходя с места, решил покончить со всеми недоразумениями. - Скажите, вы жили когда-нибудь в Рославле? - сказал я, переставая дышать.

- О! - воскликнула она удивленно. - Конечно, жили. Я же родом оттуда. Но, как вы узнали? Мы уехали из Рославля пять лет назад.

- Все ясно, все ясно, - забормотал я, бесцельно шаря по карманам.

- То есть, что значит - ясно? - спросила она в замешательстве. - И как вы разыскали наш дом? В Рославле у нас никого не осталось.

Я сел на ступеньку и, глядя снизу вверх в ее тревожные глаза, негромко сказал:

- Почему не осталось... А на кладбище?

Она выронила из рук ползунки и, прикрыв ладонями рот, стала пятиться, пока не уперлась в косяк.

- Кто вы? Что вам нужно? - сказала она испуганным шепотом.

- Скажите, у вас был сын Сережа? - спросил я, как можно спокойней.

- Боже! - прошептала она, - конечно, был. Он умер шесть лет назад и похоронен на городском кладбище. Но, ради Бога, ответьте, наконец - кто вы такой и, что все это значит?

- Сейчас объясню. Только не пугайтесь, а постарайтесь понять и, главное, поверить в то, что я расскажу.

И я рассказал ей все до мельчайших подробностей. Закончил я приблизительно так:

- Он просил передать, что ждал вас в родительский день, ждет и сейчас, и вообще, как я понял, будет рад вам в любое время. Красивый мальчик. Только уж слишком печальным он выглядел там, среди сверстников.

- Просил передать, - повторила она, и побледнела той пепельной бледностью, что бывает обычно у смуглых. Потом села рядом со мной на ступеньку. - Да, все правильно, - с горечью прошептала она. - Я иногда подаю нищим мелочь, прошу помянуть Сережу, вот и нынче в родительский день подала. Но адрес... Он, что же, и адрес вам дал?

- Он и дал, а иначе, как бы я вас разыскал?

Она вдруг жалко улыбнулась, и губы ее задрожали. Страдальчески глядя на меня, она забормотала умоляющим голосом:

- Ну, пожалуйста, прошу вас, не мучьте меня! Для чего вы все это придумали? Что я сделала, что бы так страшно шутить надо мной?

Я взял ее за руку.

- Успокойтесь, я редко шучу. А уж тем более на подобные темы.

- Да что же это такое, Господи!

- Между прочим, могу сказать еще кое-что. На его правом виске я заметил небольшой шрам. Вы случайно не знаете о его происхождении?

Она с ужасом взглянула на меня, и безвольно опустила голову.

- Как мне не знать, если шрам и был причиной его смерти. Мы возвращались из магазина, когда его сбил самосвал. Была зима, гололед... Он ударился виском о ледышку, и умер по дороге в больницу. У меня на руках. Так, знаете, вытянулся, и тут же стал холодеть...

Она оперлась о ладонь, хотела встать, но неожиданно положила голову на мое плечо и расплакалась. Потом поднялась и сказала, икнув:

- Идемте, я покажу его фотографии.

- Мы разбудим ребенка, принесите-ка лучше сюда.

- Как хотите, - сказала она покорно, ушла в дом, и скоро вернулась с большим альбомом в красном плюшевом переплете. Несколько первых страниц занимали фотографии Сережи (я сразу узнал его), начиная с рождения и заканчивая последней, снятой в детском саду у песочницы, где он стоит, поджав губы, одетый в матроску и вытянув руки по швам. Она предложила мне взять фотографию, но я отказался, объяснив тем, что в моей памяти мальчик навсегда останется таким, каким я увидел его на церковном дворе.

- Я понимаю, я понимаю, - ответила она, думая, однако, о чем-то своем, сокровенном.

И тут до меня дошло: в ту минуту она находилась не здесь, она была с давно умершим и все-таки живым ребенком, смотрела на него моими глазами, говорила с ним моим голосом, а мое присутствие было уже не важным.

- Не забывайте, вы теперь человек меченый, - сказал я, прощаясь и пожимая ей руку.
- А вы? - спросила она, улыбнувшись сквозь слезы, и снова икнула.
- Ну, что вы - я только посредник, - ответил я, и на том мы расстались.

- Но вы были еще на «Степной», виделись с женщиной? - нетерпеливо воскликнул поэт.

- Нет, не был. Но женщину видел, и вот при каких обстоятельствах. С тех пор прошло около трех лет. Однажды зимой, в самые святки захватила меня жгучая метель неподалеку от Старо-Никольского кладбища, которое, как вы знаете, уже лет тридцать закрыто для погребений. При кладбище имелась одноглавая, жалкая своим заброшенным видом, церквушка. С отвалившейся по фасаду штукатуркой, с мерзкой темно-зеленой краской купола и, тем не менее, всегда открытая для прихожан.

Я решил зайти обогреться, а заодно поставить свечу «всем святым». Вхожу, и что вы думаете? В церковной лавке, за деревянной перегородкой вижу ее, эту самую женщину. Стоит в белой кофточке, черной юбке и черном, по-монашески повязанном, платке. Стоит, и продает прихожанам свечи, лампадки, крестики, рядом ящичек для пожертвований. Она сильно изменилась, похудела и даже постарела внешне - черты ее поблекшего лица стали тонки и болезненны. Но, зато, как чудесны были ее темные библейские глаза, струившие тихий свет и смирение. Я, было, хотел подойти и поздороваться, поговорить, но, поразмыслив, решил не смущать ее, отступил в тень и незаметно покинул церковь.

- Но, почему?! Почему вы не поговорили с ней, не расспросили?! - почти закричал поэт. И сокрушенно добавил: - Вы были обязаны к ней подойти!

- Кажется, пахнет грозой, - предупредил художник, кивая на юг, где весь горизонт вместе с полями и лесом, накрыла тенью гигантская черно-серебристая туча, озаряемая снизу блеском ветвистых молний, и уже погромыхивало.

Внезапно все стихло, куда-то пропали птицы с их разноголосым щебетом, исчезли стрекозы, и лишь комары неустанно ныли в густой неподвижности воздуха, насквозь пропитанного терпкой духотой цветущих лугов.

Иван Романович открыл термос и налил себе квасу.

- А я не жалею, что поступил именно так, а не иначе, - сказал он невозмутимо, и высоко поднял, наполненную до краев, кружку. - Послушайте, она себя обрела, нашла свой единственный путь, свое место, стала ближе и к сыну, и к Богу. И мне показалось тогда неприличным и даже жестоким напомнить ей о себе. Вы понимаете, о чем я, господин поэт? Ну, вот и отлично. Теперь все. Спасибо, что выслушали. Ваше здоровье, молодые люди!

Андрей Маркиянов.

Сайт Проза.ру



*Сделай всё возможное с твоей стороны.
Всё невозможное сделает Бог.*



Дыхание земли

Расправлены крылья у птицы
в полёте на всю широту-
куда вы всё время летите,
никак я того не пойму?-

Она от себя отрывает
привычный тяжелый покой,
и крылья свои поднимает,
чтоб воли коснуться большой;

Чтоб воли коснуться на время,
но запах родной полыньи
от крыльев в любое мгновенье
напомнит ей воды свои;

И слышит парящая птица
дыханье далёкой земли,
и снова над нею кружится
раскинув объятья свои.

Сайт « Свете Тихий »

Елена Русецкая.

ПАМЯТНИК

Начало в № 65

Через четыре месяца весёлая орда юных покорителей бескрайних безлесных пространств заполярной тундры вселилась в арендованные бараки. Здесь побывали все. И бывшие студенты, только что получившие свежие дипломы об окончании университетов и институтов. И студенты, впервые попавшие на практику в места, где не ступала нога человека, кроме северных оленей, да чукчей. Почему-то зачислялись в партию, где не было машин, шоферы... Оформлялись балерины на время своих каникул. Зачем-то принимались поэты, механики, погонщики собак и оленей на должности геоморфологов и геологов. Даже взяты были два тенора из ленинградской консерватории, о чем позже крепко пожалел начальник партии: они потом, в долгие белые полярные ночи, оглашали окрестности тундры руладами распевов. Мешали спать. Вскоре их, без объяснения причин, уволили.

Однако новоявленные жители бывших тюремных бараков продолжали спать дурно. Окна бараков с завидной периодичностью ослеплялись ярчайшим неоновым огнём прожекторов со стороны лагеря - охрана опасалась регулярных побегов контингента. Кроме того, сторожевые овчарки всю ночь не прекращали облаивать «свои», как они полагали бараки с геологами, оказавшиеся почему-то вне зоны их охраны. Вокруг проволочного ограждения лагеря мимо бараков геологов всю ночь крались часовые с лающими собаками и громко перекликались «Свой?» - «Свой!».

Юные девушки и молодые парни встречались здесь, влюблялись и создавали семьи. Одни - из мальчишек превращались в мужчин, если им повезло, и избранницы их полюбили. Другие пары, отмаявшись, распадались. Третьи сталкивались с «правдоподобной» ложью ловких донжуанов, имеющих по три-четыре любовницы, рушили свои и чужие семьи навсегда. Некоторые как-то подштопывали семейные отношения, припомнив первую любовь или шадя детей, и, настороженно вздрагивая, не веря больше никогда друг другу, продолжали изображать счастливую семейную жизнь. Дела обычные, и не только в геологии. Но это так, лирическое отступление...

Вечером у входа в контору партии стояла упряжка северных оленей, нервно отбивающихся от назойливых комаров. Каюр, хозяин упряжки, сидел в конторе за столом напротив Асадова. Между ними стояла наполовину опустошённая бутылка спирта.

- Значит, так! Ты, Пяк, перешиваешь нам собачьи и олени спальные мешки на нормальный размер - метр восемьдесят, два метра - взамен метр сорок, метр пятьдесят, - строго наказывал Асадов, хлебнул из алюминиевой кружки неразбавленного спирта и захрустел солёным огурцом.

- Мешок сшит нормальный человек, больше не бывает - отбивался Пяк, и встал, обозначив свой полутораметровый рост; он залпом опорожнил полкружки спирта, закусил сырой оленией печенью.

- Как ты такую гадость ешь? - поморщился Асадов. - Тамара, - крикнул он в открытую дверь, - пригласи «нормальный человек».

Через минуту в комнату вошли Тамара, бухгалтер экспедиции двухметрового роста, и начальник отряда Рахиль Ивановна - ростом ровно два метра и три сантиметра. Пяк вскочил с табуретки и забегал вокруг женщин, восхищённо и с завистью приговаривая:

- Бывает больше нормальный человек! Бывает!

Вскоре Асадов и Пяк договорились. Пяк, поозиравшись, передал Асадову связку выделанных шкурок неблюя - нерождённых оленят. Шапки, пошитые из неблюя, пользовались в то время за Уралом, в Европе громадным спросом у мужчин, но, особенно, у женщин, и стоили баснословно дорого.

Два мира, лагерный и, как мы тогда думали о себе, свободный, сосуществовали рядом, разделённые только двумя рядами колючей проволоки. Вечерами со стороны тюремного лагеря неслись заунывные, безысходные напевы «По тундре, по широкой дороге, где мчится скорый Воркута-Ленинград, мы бежали с тобою, от проклятой погони...». Постояльцы бараков, недавно освобождённых от зеков, члены партии №777 из геологического лагеря, откликались на зону ещё более грустной мелодией «Нас по самолётам раскидали, сунули авансы в зубы нам, доброго пути не пожелали, и забросили ко всем чертям...».

И Алёшин вдруг подумал, что и люди за колючей проволокой, и они - поселившиеся сейчас в их бараках, бывших ещё вчера пристанищем зеков - находятся, в общем-то, в огромном общем

лагере, охраняемым солдатами на вышках с автоматами и пулемётами... «Всё-таки мы, бродяги-геологи, - продолжал горько размышлять Алёшин, - имеем хотя бы по три-четыре месяца видимости свободы. Хотя бы в палатке. В своём отряде на четыре-пять человек можем говорить и размышлять на любые темы, даже антисоветские, не опасаясь доносов, стукачества».

- Чёрт! Сколько мужиков за колючкой гнобят! - проговорил Асадов хмельным голосом, входя после Пяка в барак, где за длинным столом собирались по вечерам почти все сотрудники партии. - А у нас рабочих в отряды геологам не хватает. Придётся вылетать на точки в неполных составах. Геологини сами шурфы будут рыть. Зато свободы хоть отбавляй! Говори, не оглядывайся!

Алёшин вздрогнул, будто кто-то подслушал его тайные мысли. За столом притихли. В начале пятидесятых годов на эти темы разговаривать не полагалось. Почти у всех, сидящих сегодня за столом, кто-нибудь да был арестован, обвинён по 58-ой статье и сгинул в лагерях ГУЛага, но говорить об этом в коллективах не смели. Опасались. Никто за столом ещё не знал, что в марте месяце следующего года скончается самый страшный диктатор двадцатого века. Не знали этого и все сидящие за колючей проволокой; не знал никто из многомиллионных жителей российской империи. Не знали, что в тот же год, после его смерти, начнут освобождаться огромные лагеря ГУЛага, густо нашпигованные в тело России. И уже не будет недостатка в рабочей силе у геологических отрядов. Что почти в каждом отряде партии № 777 появятся по одному, а то и по два бывших лагерных заключённых 503-ей стройки, политических или уголовных. Что присутствие уголовников в отрядах изыскателей скажется по-разному, иногда закончится и трагически, но это тема для отдельного повествования...

Со стороны дощатого сарая, бывшего лагерного карцера, донёсся пронзительный визг.

- Что это? - прислушались члены партии.

- А! - успокоил всех сидящих за столом Асадов. - Это, должно быть, прибыли из Ленинграда механик Костя с радистом Потапом. Кажется, поросят привезли с собой. Обещали. Наверное, сторож показал им сарай, куда их пристроить.

- Зачем поросята-то?

- Осенью и откушаем.

- А кормить-то чем?

- Остатками от ресторанных блюд, - проговорил весёлым голосом в приоткрывшую дверь столовой невысокий жирный парень с глумливым лицом, похожий на кота. - Договорюсь.

- Только из ресторана! - подтвердил, возвышающийся над котообразным парнем, высокий могучий мужичок с огромной лысиной, тёмным лицом и сверкающей во рту золотой фиксой. - Я и буду привозить.

И они ввалились в комнату.

- Механиком буду у вас на базе. Зовите Костей. Я Костя и есть. Сидоров. Буду лечить машины и вездеходы. Свиной разводить.

- А я радист. Потап. Можно Шурой.

- Вообще-то, Шурой меня кличут, - откликнулся из-за стола Виктор, тоже изрядно облысевший. - И я радист. Вот у неё в отряде, - показал он пальцем куда-то за спину.

Потап взглянул на молодую пышную женщину с миловидным лицом. Она сидела, тесно прижавшись к невысокому парню с лицом жуликоватого деревенского ухаля. Женщина повернулась к Потапу, не успев убрать с лица счастливого выражения влюбленности. «Влюблена, как кошка, - решил Потап. - На меня никто так не смотрел». С другой стороны «ухаря», тоже тесно прислонившись к нему, выглядывала высокая стройная девица с интеллигентным красивым лицом. «Надо же, - подумал Потап, - и эта влюблена в него. Уж больно одинаковые выражения на их лицах». Он был прав. Они не только были влюблены в него, но и являлись его любовницами. Ещё одна любовница сидела напротив, по другую сторону стола. Это была невысокая рыхлая коренастая женщина с широким красным лицом, с любовью смотревшая на парня, зажатого двумя девицами. Все трое были подругами, но тщательно скрывали свои отношения с женатым парнем и друг от друга, и от окружающих. Однако холодок в их отношениях уже наступил. Жена парня и ещё одна пассия оставались в Ленинграде. Жуликоватый ухаля был не только ловок, но и скрытен. О его разгульном образе жизни не догадывались не только приятели и любовницы, но даже чуткая жена. На полевых работах он каким-то ловким образом ухитрился убедить начальника партии отправить его вдвоём с любовницей в какой-то ненужный для нужд изыскателей маршрут.

А поросята подрастали. Под непрестанной опекой механика Кости и радиста Потапа они как-то быстро превратились в две крупные свиньи. Механику и радисту делать на базе было

решительно нечего. Машины в ремонте не нуждались, поскольку на них почти не ездили. А радист, кроме получасовой утренней беседы с полевыми отрядами, вообще целыми днями дурел от безделья. Они бегали по местным девицам, пили водку, да прожигали время в единственном местном ресторане. Служители ресторана радовались постоянным дневным клиентам, всё-таки доход - а днём ресторан был пуст. Костя же с Потапом тоже были довольны - они имели от заведения целые ведра отходов от блюд клиентов для своих свинок.

Как-то осенью, в начале октября, засидевшись в ресторане допоздна, друзья начали было напевать «Нас по самолётам...», как их почтительно вывели и усадили в машину, на которой приехали. Рядом поставили ведра, наполненные остатками пищи. Приятели, не прекращая петь, чудом добрались до базы. Смутно соображая, что делают, с трудом доковыляли до сарая, открыли его - и вывалили всё содержимое вёдер в корыта для свиней. Потом поддерживая друг друга, dospотыкались до своих лежанок в доме и обрушились в обморочный сон.

Утром кладовщик Рау, открыл сарай, где был склад со снаряжением и содержались свинки, и охнул. Одна свинья - дохлая - лежала рядом с переполненным пищей корытом. Вторая свинья, похрюкивая, лениво ковырялась пяточком в корыте. С криком «Кось, Петро!» кладовщик кинулся в комнату, где спали механик и радист.

- Свинья подохла! - закричал Рау.

Костя и Потап вскочили с кровати, и тут же ухватились за головы:

- Чёрт! Как голова болит! - запричитали оба. - Что случилось там, Рау?

- Так я же и кличу - свинья омертвела!

Потап, а за ним Костя, забыв накинуть штаны, бросились к сараю. Потап встал на колени и ткнулся носом в пяточок свиньи.

- Не дышит! Что будем делать, Костя?

- Теплая?

- Да вроде, - ответил Потап, пощупав ладонью свинью.

- Обкормили мы их вчера по-пьяни. Рау, убери корыто, а то вторая обожрётся и подохнет.

Костя поднял левую переднюю ногу свиньи, достал с полки длинный охотничий нож, и с силой погрузил его в тело хавроньи. Из раны медленной струйкой потекла тёмная кровь. Через несколько минут течение крови прекратилось.

- Потап, быстро потрошим животину, кидаем в машину и везём сдавать в ресторан. Они же хотели прикупить у нас свинину...

- Так она же подохла!

- А кто узнает?

- Спросят, а почему мясо розовое?

- Скажем такой сорт - голландская, мол, свинья. Грузим быстро! Поехали!

Через час хохочущие Костя и Потап, довольные сделкой, вернулись на базу с бутылками водки и толстой пачкой купюр. Подохшую свинью они выгодно сбыли. А ресторан почти месяц кормил своих посетителей розовым свиным «голландским» антрекотом.

Осенью на базе за общим столом собрались почти все геологи и геоморфологи, радисты и поварахи, рабочие и каюры, вся разношёрстная компания юных изыскателей. Они впервые после полевых работ, спустя четыре месяца, увиделись друг с другом. Все были возбуждены, довольны успешными результатами изысканий.

- Я хочу сказать тост, - встал, сопровождающий наши отряды, писатель, корреспондент, архивист наших деяний, Мечтальский. - Предлагаю поднять рюмки, стаканы, бокалы, кружки за всех вас. За первопроходцев. Вы свершили великое деяние. Уже ясно: на территории, по которой вы прошагали, проползли, потеряли здоровье, приятелей, друзей - есть нефть, огромная нефть и газ! За вас, за погибших товарищей мы выпьем сегодня этот спирт, разбавленный шампанским и нашими слезами - наше «Северное Сияние», кем-то остроумно названный этот напиток. И я уверен: лет через пятьдесят на этом месте - где мы с вами сейчас сидим, на месте лагеря №503 - воздвигнут памятник. Монумент. Вам - как первооткрывателям колоссальных залежей углеводородов. За вас! За предстоящие успехи в грядущих полевых сезонах!

Все выпили.

- Ага, - отозвался Алёшин, прожёвывая малосоленного хариуса, - такой монументик, как Екатерине П или Крылову в Ленинграде...

- Во-во! - откликнулся радист Потап: - наверху памятника будет стоять наш шеф в коротеньких штанишках с геологическим молотком, и, приложив руку ко лбу, смотреть в хмурое дождливое небо...

- А ниже, вокруг него - наши фигуры, отлитые в бронзе! - выкрикнул кто-то.

- Потапа, радиста, - надо обязательно высечь на памятнике отдельно, в простыне - как он торопится до ветру! - беззлбно высказался начальник отряда, сидевший без продуктов почти две недели...

- Обязательно Кудрееву поместить на обелиск, как она тянет паровоз на пристань, - предложил Виктор, прозванный Шурой, и захохотал.

- Нас! Нас тоже надо поставить на монумент, - хором заявили двое бывших уголовничков. - Мы же соучаствовали!

- Да и лошадок бы надо показать! Они вон как страдали! И в болотах гибли.

- Ещё там же Костю с Потапом поместить, а между ними подохшую свинью, - засмеялся Шура.

За столом хохотнули. Снова разлили по разнокалиберным емкостям чистый спирт, смешивая его в различной пропорции с остатками шампанского и воды. Становилось весело.

Вскоре все изыскательские отряды собрались на базе. И уже к середине октября она опустела. Жены возвращались к своим мужьям, покинув сезонных возлюбленных. Мужья вернулись к своим верным жёнам. Изматывающий каторжный труд остался позади. Геологи заполучили радикулит, язву, сердечные болезни. Кто-то из них, по возвращении, выехал на море с семьёй, кто-то засел за канцелярские столы рисовать прогнозы нефтегазоносности исследуемой территории.

Через десяток лет заговорят о фантастических нефтяных и газовых запасах Западной Сибири. А в 70-ых годах уже начнут качать из её недр стратигическое сырьё...

И никто из них не знал, что никакого памятника им в Обдорске не поставят - ни через несколько лет, ни через двадцать, ни через пятьдесят. Никогда. Город, правда, вознесётся многоэтажными домами, прорежется асфальтированными проспектами, обзаведётся современным аэропортом и уютным речным вокзалом. Из двадцати семи юных в 1950-е годы геологов, геоморфологов, палеонтологов, молодых изыскателей нефти и газа Западной Сибири до пятидесяти лет не доживёт и половина. А к шестидесяти-семидесяти годам в живых не останется уже никого. За несколько лет буквально каторжного труда на просторах северной тундры они подорвут своё и здоровье и веру. Кто-то приобретёт язву желудка после длительного голодания. Работающие на побережье Карского моря попадут под радиоактивные осадки от проводящихся на полярных островах ядерных взрывов - без предупреждения населения - и истают до срока от рака крови. Другие погибнут на порогах горных рек, не обеспеченные равнодушной властью ни спасательными жилетами, ни рациями, ни транспортом, ни топографическими картами. Некоторые захлебнутся в болотах...

Несколько изыскателей будут кем-то убиты, а убийц не найдут. Будут и сгоревшие в падающих вертолётах, и разбившиеся в лёгких самолётиках. Канут без вести. А все выжившие уйдут буквально нищими - молодыми, не добравшись и до пенсионного возраста, успокоившись на окрестных погостах вокруг Ленинграда. На смену им придут хваткие, здоровые, наглые чиновники и воспользуются всеми их трудами. Вот они будут жить долго. Они станут миллионерами и миллиардерами. Они - вяхиревы, черномырдины, сечины, миллеры - ни дня не проживут в рваных сырых палатках, ни метра не прошагают по гиблым болотам, не попадут под радиоактивные дожди, не пропадут без вести... Они даже не вспомнят о нас, о первых первооткрывателях золотого запаса России. А уж поставить памятник...

И всё-таки Мечтальский оказался прав! Через пятьдесят лет на месте геологической партии №777 и лагеря №503 «памятник» вознёсся. Бывшие заключённые 503-ей стройки - и политические, и уголовные, и редкие оставшиеся на тот момент в живых первооткрыватели сибирской нефти - соберут с трудом меж собой по крохам деньги и поставят на месте своей тюрьмы, на месте бывшей геологической базы, православный Храм-Памятник.

Основной вклад на возведение храма внесут бывшие заключенные. В 80-90-ых годы они стремительно сделают головокружительные карьеры, чаще всего криминальные, и станут богатыми бизнесменами России. Политические в своей массе не преуспеют...

Верующие приполярного городка и редких окрестных деревушек и теперь посещают эту церковь, но редко кто обращает внимание на висящую справа от входа в храм скромную надпись:

ХРАМ ВОЗВЕДЁН НА СРЕДСТВА
БЫВШИХ ЗАКЛЮЧЁННЫХ 503-ЕЙ СТРОЙКИ
И ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ СИБИРСКОЙ НЕФТИ.



Геннадий Гончаров. Австралия.



Письма читателей

*Любви желаю и чудес
И радость жизни
нам с небес
И разнесёт всем
Благовест:
Христос Воскрес!
Христос Воскрес! Е.К.*

1-5-2016 **Христос Воскресе!** Здравствуйте Тамара! В этот красивый - душевно тёплый - светлый - очищающий и дарующий радость сердцам день поздравляю Вас со **Светлым Христовым Воскресением!** Мира, добра, душевной теплоты и любви в сердце желаю Вам и Вашим близким! Всего доброго и самого хорошего! **Е. Кульба. Россия.**

13-5-2016 ...За это время не написал ни строчки - пока только радуюсь успехам авторов прекрасных работ. Работы прот. Василия Мазура: «Глотаю воздух» и «Звёздочка явилась в небе ясная» - прекрасны, всегда с великим удовольствием читаю и перечитываю его работы; автору спасибо и новых успехов в творчестве... Работа В.Д. Ирзабекова – «Русский язык как фактор национальной безопасности» своевременна и актуальна. Если не остановим разрушительные процессы в настоящее время, то в будущем русский язык может постичь судьба английского. И прав автор: не отдавать на поприще наши святыни! - и одна из них русский язык... Отзыв по Вашей работе Тамара «Бумажные стены» ...у Вас прекрасно получается - рад буду прочесть новые работы... Очень понравилась небольшая по размеру но наполненная верой, надеждой, и любовью работа С.Ф. Филиппова - «Когда износится одежда» - автору спасибо... Спасибо Вам Тамара за то, что своим трудом, творчеством способствуете сохранению, сбережению русского языка. Спасибо, за то что находите и публикуете на страницах Жемчужины работы таких авторов как прот. Василий Мазур, В.Д. Ирзабеков, открываете для нас новые имена... Успехов в работе и творчестве. С уважением. **Евгений Кульба. Россия.**

Отрывки из старых писем (Е. Кульба)

16-1-2016 ...Читал и читал Вашу работу - Испанское лето... Прекрасная и интересная работа: точки и многоточие - словно кастаньеты, создают ритм, и кажется словно слышишь то приглушённый звук, то высокий... Вот бы прекрасно было - перевести эту работу на испанский язык - в ней и бой человека с быком, и зажигательный танец, и грусть вековых традиций, читаешь и словно находишься в далёкой - яркой -весёлой - грустной - жгучей стране... В работе нет лишних слов - каждое слово ёмко по содержанию и передачи не только информации, но ещё - за словом есть незримый шлейф истории - культуры и традиций народа... А Юбки-Зарницы - в двух словах сливается и культура национальной одежды, и народный танец, и характер народа и природа Испании! Прекрасная работа - мне очень понравилась... В наступившем году разрешите пожелать Вам Тамара : новых творческих успехов - надеюсь Вы нас порадуете своими прекрасными работами, сил Вам и терпения в работе над новыми номерами Жемчужины, встреч с прекрасными - интересными - добрыми людьми, всего самого доброго и хорошего! С уважением. **Е.К.**

29-1-2016 ...Ваш рассказ «Бумажные стены»: ...читается легко, читаешь и представляешь как выглядят те, о ком пишет автор. Как я понял - у Вас Тамара есть ещё такие работы, или Вы их завершаете - с удовольствием прочитал бы, думаю не только я. ...Мне работа понравилась, добрая, светлая. С уважением и пожеланием новых творческих успехов. **Е.К.**



19-2-2016 Здравствуйте, уважаемая Тамара Николаевна! Очень рад Вас слышать! Я с нетерпением ждал Вашего письма. Для меня было неожиданностью увидеть свое стихотворение на страницах такого замечательного журнала! Очень Вам благодарен за публикацию.

С уважением, **Павел Грызлов. Россия.**

3-3-2016 Здравствуйте, уважаемая Тамара. Поздравляю Вас со Всемирным Днём писателя! Желаю острого пера и творческого настроения, сил и упорства в работе со Словом, Мира в душе и Мира на нашей земле! Новых книг и хороших издателей!
Ваш автор **Федор Ошевнев. Россия.**

1-5-2016 **ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!** Дорогая Тамара Николаевна, сердечно поздравляю Вас и Ваших близких со светлым праздником Пасхи! Многая благая лета Вам и Вашей великолепной Жемчужине!
С уважением, Ваш **Александр Герасимов. Калининград.**

1-5-2016 Дорогая Тамара, От всей души поздравляю со светлым праздником Пасхи Господней! Пусть пасхальная радость всегда озаряет Вашу душу и Господь щедро дарует Вам Свои великие милости! Храни Вас Бог! **Оля Цвиркун. Киев.**



Письма читателей

4-5-2016 Христос воскрес, Тамара! ...Народ радуется Пасхе: в храмы, украшенные цветами, стекаются людские потоки, на освящение яиц и куличей люди идут в течение дня, радуются, когда их окропляют святой водой, незнакомые поздравляют друг друга. Вместо привычного "привет" или "здравствуйте" говорят "Христос Воскресе". Кто-то отдаёт дань традиции, но уже задумывается - ведь к Вере вмиг редко приходят, когда почти век была антирелигиозная пропаганда – страшно это представить... Целую, твоя **Н. Гребенюкова**. Россия.

**От редакции**

Дорогие читатели! Позвольте поделиться с вами замечательной новостью, ведь успехи авторов «Жемчужины» - это большая радость и самого журнала.

Так на стихи нашего поэта Эдуарда Борисовича Ковшевного - «Я теперь за счастьем не гонюсь» - появилась на свет новая патриотическая песня «ПРИЗНАНИЕ». Соавтор песни - замечательный московский композитор Виктор Александрович Агранович.

Спустя полгода после создания песни - 21-го мая 2016 - состоялась официальная премьера песни "Признание", которая - в исполнении петербургского певца Сергея Русанова - прозвучала в концерте «Ночь в Музее», что проходил в Москве, на улице Тверской 14 - в бывшем Елисейском магазине. Для любителей старины: Елисейский магазин в прежние времена был салоном Зинаиды Волконской, и паркет его всё ещё помнит стремительные, порывистые шаги Александра Сергеевича Пушкина, и многих других блистательных и исторических личностей - тех, кто составлял цвет Российской империи...

Что можно сказать о песне? Первоначальный текст стихотворения "Я теперь за счастьем не гонюсь..." немного отличается от текста песни «Признание». В результате - не менее проникновенные слова и дивная, попросту дивная музыка композитора.

К большому сожалению видеозаписи премьеры, исполнения самой песни - в Интернете пока ещё нет.

Конечно же, мы с нетерпением ждём этого события. И, конечно же, как только появится возможность, мы сейчас же сообщим читателям о выходе песни в эфир.

А пока - от всей души поздравляем Эдуарда Борисовича с заслуженным успехом. Пожелаем ему творческого вдохновения и написания таких же душевных песен. Хочется верить, что его «Признание» Родине прозвучит во многих уголках России

ТВЕРСКАЯ 14
Бюджетный театр - культурный центр
Президенте им. В.А. Островского

21 МАЯ
СУББОТА
начало в 22.00

НОЧЬ В МУЗЕЕ
«Весенняя песня»

Лауреат конкурса
«Весна романса»

**СЕРГЕЙ
РУСАНОВ**



Тверская, 14
Проезд: м. "Тверская", "Пушкинская", "Чеховская"

Прозвучат песни и романсы композитора Виктора Аграновича на стихи классиков и современных поэтов, а также песни советских композиторов

**МИХАИЛ
ПЕРФИЛОВ**
фортепиано, гитара

Ведущий -
композитор
ВИКТОР АГРАНОВИЧ

ВХОД СВОБОДНЫЙ
Москва, 2016



СВЕТ

Мой приятель - пожилой московский священник отец Алексей - рассказал мне однажды, как вынашивалось в его душе весьма важное для жизни успокоение.

В детстве Алеша много болел. Врачиха, лечившая поочередно корь, коклюш, ветрянку, краснуху и уважительное число ангин, однажды не выдержала: «Ну что с тобой делать - на помойку снести?». Врачиха была не злой, напротив - доброй, заботливой и, уж конечно, не собиралась выбрасывать на помойку больного ребенка, но спросила так для того, чтобы, думается, построжать родителей. «Знаю, что у вас большая семья, - сказала она еще, - знаю, что ответственная работа, но умоляю: бросьте все и немедленно отвезите его на море». Так впервые Алеша оставил Москву и очутился в Анапе...

Если прежние его ощущения были связаны в основном с тем, что приносили болезни: с горчичниками, уколами, компрессами, с полубеспамятством жара и постельной тюрьмой, то здесь - переставшему наконец болеть - открылась громадность мира, и чувства устремились познать его. Оттого, верно, приметливость сопутствовала ему в то лето, как, может быть, никогда более во всей последующей жизни.

Было, конечно, в Анапе море, песчаный пляж, тянувшийся к горизонту, полчища белых крабиков на мелководье, базар с виноградом, персиками и ставридой: на рубль - пять рыбин. Был еще дом - старой постройки, кирпичный, в три высоченнейших этажа. Бомба не оставила ни кровли, ни перекрытий, ни окон, ни дверей - только стены. За стенами - груды битого кирпича, крошево штукатурки, и все это поросло сладко пахнущими цветами.

На пляже ржавел остов морской баржи, выброшенной после гибели обстрелянного буксира. Иногда к берегу прибывалась мина: народ разбежался по домам и ждал приезда саперов.

То и дело кто-нибудь да тонул. Вытащенного из моря утопленника непременно пытались общими усилиями «откачать» - воду действительно откачивали, однако Алеша ни разу не видел, чтобы человек ожил. Что уж так отчаянно тонули? Трудно сказать: объяснение всякий раз давалось одинаковое - «дельфин защекотал». Дельфинов тогда у побережья держалось множество: возможно, по причине недопонимания человека они подвигались возвращать его в земную стихию, люди же, недопонимая дельфина, шли от страха ко дну.

В центре города стояла триумфальная арочка - небольшая, но вполне натуральная, сложенная из камней в честь стародавнего воинского успеха. У подножия ее возлежали две старинные пушки.

На высоком берегу, окруженные зарослями кизила и белой акации, сохранялись остатки усадьбы: верей без ворот, постаменты без статуй, колонны без фронтона, крыльца и даже без самого здания. В береговых осыпях попадались глиняные черепки - осколки греческих амфор.

Алешины родители были тогда еще сравнительно молоды и любили друг друга. Но уже и в ту пору случались не лишние тревожности разговоры, в которых отец просил маму оставить работу и сидеть с детьми, чтобы наконец «образовался хоть какой-нибудь дом». Однако вздор, благополучно внушенный ей в юности, осенял все без исключения наиважнейшие ее шаги - просьбы отца наталкивались на возрастающее раздражение, и в конце концов семья развалилась.

...Когда-то, в семнадцатилетнем возрасте, отрезав косу и повыкидывая из дома родительские иконы, Алешина маменька решительно ступила на стезю деятельности яростной и много трудной: на знамени, которое она гордо несла через всю жизнь, аршинными буквами было начертано: «общественное» - для слова «личное» места не доставало. Обстоятельство это стоило ей в конце пути сомнений и разочарований.

Но Анапа находилась ближе к середине пути, там отец еще был с ними. Однако если сценки семейной обыденности тех дней смотреть на просвет, знак разрушения угадывался в них, как угадывается водяной знак на ассигнации или почтовой марке.

Для чего же дням этим суждено было запомниться? Уж не для того ли, чтобы однажды обнаружить, что вся остальная жизнь умещается на них, как чашка на блюде? И вправду: утопленники открыли Алеше ненадежность и хрупкость телесного бытия и одарили неразгадываемой тайной смерти. Ночные разговоры родителей завершились в некоторое время уходом отца, доброту и страдания которого Алексей сумел оценить только тогда, когда родителя уже не стало, после чего, уверяясь, что идет непроторенною тропой и творит нечто доселе невиданное, сын принялся с изумительной точностью повторять череду множественных отцовских ошибок.

Повторив, кажется, все ошибки, Алексей мог делать достаточно достоверные предположения о своей будущности. Путь в эту будущность, по его представлению, начинался с той давнишней поездки в Анапу. Развалины старинной усадьбы, триумфальная арочка и амфорные черепки столь трепетно изобразили прельстительность прошлого, что ушедшие времена сделались для него с тех пор в высшей степени притягательными, а люди ушедших времен словно бы заключили с ним родство. Наконец, руины трехэтажного дома, полузасыпанная песком баржа, саперы на «студебеккерах» - печать войны коснулась и его дней: легонечко, но коснулась, и печать эта несмываема.

Обнаружив, что жизнь наша, сколько ни крутись, ни фантазируй, ни своеобразничай, легко умещается на пяточке раннего детства, он совершил благодатнейшее открытие, свет которого озарял с тех пор дни его и часы.

«Все - суета сует», - учит древняя мудрость. «Не надо дергаться», - говаривал примерно о том же Алешин отец, отродясь не читавший церковных книжек...

свящ. Ярослав Шипов.



Бывают люди Душой глубокие, как океан, - в которых хочется окунуться.
И бывают люди, как лужи, которых надо обходить, - чтобы не запачкаться.

МУДРЕЦ И КУПЕЦ

(притча)

- Как мудрости достичь мне, отче? -
Спросил купец у мудреца. -
Какой есть путь всего короче?
Что знать важнее для купца?
С чего начать? - Мудрец подумал:
- Ты в лавке целый день провёл...
Всё торговал, о деньгах думал,
Дела купеческие вёл...
Начни с того, что встав с зарею,
Из дома выйди рано ты,
Наедине побудь с собою,
Оставив пути суеты.
На улице постой подольше,
Часочка два, иль даже три,
И в глубь себя как можно зорче
Спокойным взором посмотри.
Купец исполнил то, что слышал,
Всё, что мудрец ему сказал.
На улицу наутро вышел,
И три часа там простоял.
Пошёл опять он за советом
И извещает мудреца:
- Я был на улице, с рассветом,
И простоял там до конца,
Хоть дождик шёл и вымок сильно...
- **Что ощутил? - спросил мудрец.**
- Я ощутил своё бессилье,
И то, что я - большой глупец...
- Ну, значит на пути ты верном.
Коль хочешь стать ты мудрецом,
Начало мудрости - шаг первый -
Есть осознать себя глупцом!

В.К. Неярович. Россия.



Ночь сиянием звёздным согрета,
Даль прозрачный окутал туман,
И несётся, вращаясь, планета
К неизвестным науке мирам.

И кто знает, там тоже, быть может,
На такой же земле человек
Одиночеством тем же встревожен
В тот же час, тот же миг, тот же век.

И влекомый мерцанием млечным,
Что в такие же льётся поля,
К тем же тайнам стремится навстречу,
И о том же грустит, что и я.

Павел Грызлов.

Россия.



Вы никогда не пройдёте
свой путь до конца,
если будете
останавливаться,
чтобы бросить камень
в каждую
тявкающую собаку.

Осовец. Атака мертвецов

Рассказ офицера

*«Да не посрадим земли Русския, но ляжем костями ту:
мертвые бо сраму не имут».* князь Святослав, 970 год

*Памяти русских солдат героически
защищавших русскую крепость Осовец
в I Мировую войну в августе 1915г.*



Мёртвые сраму не имут.
Мёртвым противен покой.
Жизни у них не отнимут,
Если те бросятся в бой...



Я подпоручик Котлинский...
Вам, господа, расскажу
историю прожитых лет.
Этой историей я дорожу -
историей наших побед.

Был я молод и счастлив...
 Был предан царю,
и Россию любил, как жену.
Но война наступила...
 и я говорю,
что отправлюсь на эту войну.

Шёл пятнадцатый год...
Вильгельм на восток
вёл рогатые орды свои.
Я отправился в Польшу
 под Белосток,
там, где «Бобр» растёкся в тиши,
где рассвет над рекою красив и широк, -
отражение русской души.

В том затерянном крае, где болото и лес,
где язычество дышит кругом,
на высоком холме, стоял Осовец -
наша крепость и наш гарнизон.

Там командовал ротой тринадцатой я,
и геройский землянский мой полк
отличился отвагой в жестоких боях
и не скрою: был милостив Бог.

А солдаты мои - богатыри -
пели песни под грохот мортир:

 Пуля - дура,
 штык - молодец!
 Эй, немчура,
 Мы - Осовец!

И сражались в бою от зари до зари
за царя, за Россию, за мир!

Когда солнце погасло
в последний наш бой,
нас железо ласкало, горя.
Генерал Фройденберг,
Ты - чужак, не герой!
И на «Берты» надеешься зря!

Полетели снаряды -
восемьсот килограмм -
нам на головы, словно грачи,
а мы пели опять и голосам
не умолкнуть в кромешной ночи:
 Пуля - дура,
 штык - молодец!
 Эй, немчура,
 мы - Осовец!

А потом засвистели наши «птенцы» -
артиллерия била в «пятак»:
и железные «Берты» отдали концы...
Генерал Фройденберг, ты - чужак!

Отдышалась земля. И вдали по реке
август плыл в отраженье луны.
Мы лежали в окопах в пыли и песке
под светлеющим небом страны.

И настало затишье перед грозой...
Были лица от пыли черны.
И солдатам моим казалось порой,
что бессмертными все рождены.

Но в четыре утра,
как забрезжил рассвет,
я проснулся от грохота и
от удушья и газа... А многие - нет:
так и спали в окопах своих.

Пронеслось по окопам: солдатуски - хлор!
Кто-то кашлял и кровью харкал...
И невидимый враг добивал нас в упор,
ни ружья не боясь, ни клинка!

Пожелтела земля. И деревья в чаду
умирали как наш гарнизон.
И тогда мне казалось, как будто в аду
я проснулся... но это не сон!

Нас окутал туман... облака... облака...
И солдаты хрипели во сне...
И до нас доносилось издалека:
Эй, Иван, ты живой или нет?

Задохнувшийся ветер унёс облака
и в болотах уснул как герой.
И «карлушки» пошли на окопы полка -
в нашу крепость - как будто домой.

Длинной цепью,
сияя в семь тысяч штыков,
они шли, говоря и смеясь,
и давили солдат каблуком сапогов,
и пинали сердца наши в грязь!

Но зиял перед ними последний окоп -
они встали, как вкопаны в ил:
мы поднялись, шатаясь,
пред ними лоб в лоб
из кровавых и скользких могил.

Мы поднялись в крови,
Пятьдесят, но - живых!
И, кусками висевшую плоть,
отдирали руками и бронхи свои
мы харкали в глаза им и в рот!

И бежали «карлушки», не чуя земли,
и сверкал их откормленный зад.
А мы тихо за ними, кровавые, шли...
А за нами безмолвствовал Ад!

Мне казалось тогда,
что оставил нас Бог,
и сам дьявол ведёт на врага...
И мы шли, и ползли,
кто не умер, кто мог, -
хоть последних четыре шага!

И бежали «карлушки»,
друг друга давя,
на колючках висели, скуля...
Так закончилась битва...
И умер там я
за Россию, за мир, за царя!

А солдаты мои - богатыри -
свой великий нашли там конец:
Там ворота России!
И в свете зари
непокорный стоит Осовец!

9 авг. 2015

Сергей Михайлов.
Россия.

Пролетают голуби
В вышине.
Опадают жёлуди
В тишине.
Помню:
Лес, как скошенный,
За крыльцом.
«Мессер» падал коршуном,
Бил свинцом...

А сегодня - голуби
В синеве.
Тихо скачут жёлуди
По траве.
Тянется за горлицей
До небес
Вставший за околицей
Новый лес...

Набирают голуби
Вышину.
Охраняют голуби
Тишину.



ГОЛУБИ



Вл. Колабухин.

Саломея

Приключения, почерпнутые
из моря житейского.

Александр Фомич Вельтман.

Начало см. № 54

Продолжение...

КНИГА ВТОРАЯ

Часть пятая

I



Что ж делается с Саломеей? Грустно описывать...

Наутро будочники представили ее в часть, что, дескать, поднята на улице пьяная или больная, Бог ведает. Городской лекарь, молодой человек, только что из академии, призванный для освидетельствования, взглянув на нее, подумал: «Ух, какой славный субъект! Черты какие, что за белизна, склад какой славный! Жаль, бедная, в сильной горячке».

- В горячке? Так отправить ее поскорей в острог, в лазарет! - сказал Иван Иванович.

- К чему же, - сказал с сожалением лекарь, - я буду лечить ее, она, может быть, скоро выздоровеет.

- Нет, уж извините, я здесь горячешных держать не буду.

- Да позвольте, я возьму ее к себе на квартиру.

- Как-с, колодницу отдаст вам на руки? Она убежит, а я буду отвечать!

- Какая же она колодница: ее подняли на улице больную.

- Беглая, беспаспортная: все равно.

Молодой лекарь, соболезнуя о славном субъекте, ничем не убедил Ивана Ивановича; ее отправили в лазарет и положили на нары в ряд с больными бабами, в какую-то палату, куда проникал свет сквозь железные решетки и потускневшие стекла. Каждое утро тут обходил тучный медик, кряхтя допрашивал больных и назначал лекарства.

- У тебя что, матушка?

- Все голова болит, ваше благородие, ничего, лучше.

- Голова-то у тебя, верно, похмельная.

- С чего опохмелиться-то, сударь, ишь вы подносите какую настойку!

- Ну, а ты чем больна? Спит! толкни ее под бок.

- Никак нет, это вчера привезли, в горячке, - отвечал фельдшер.

- Не в гнилой ли? - спросил медик, проходя.

После нескольких дней совершенного беспамьяства Саломея очнулась; но голова ее была слаба и чувства не могли дать отчета, где она и что с ней делается. Бессознательно смотрела она в глаза медику, когда он подошел и спросил ее:

- Ну, ты что, матушка?

- Пить, - проговорила она.

- Дай ей той же микстуры, что я прописал вон этой.

- Ты, мать моя, откуда? - спросила ее соседка, заметив, что она устремила на нее глаза.

- Где я? - тихо произнесла Саломея вместо ответа.

- Где? уж где ж быть, как не в лазарете тюремном. Ты, чай, беглая аль снесла что?

Саломея вскрикнула и впала снова в беспамьяство. Страшная весть как будто перервала болезнь: слабость неподвижная, чувства возвратились, но взор одичал, желчная бледность заменила пыл на щеках Саломеи. Ее нельзя было узнать. Она смотрела вокруг себя, боялась повторить вопрос и стонала.

- Уж какая ты беспокойная, мать моя, расстоналась! Да перестань! Побольнее, чай, тебя... да про себя охает!

Саломея замолкала на упреки; но, забываясь снова, стонала.

- Ну ты что, матушка? - спрашивал по обычаю медик.

Саломея закрывала глаза и молчала.

- Да что, сударь, надоела нам, только ворочается, да охает, да обливается слезами.

- Э, что ж ее тут держать, - сказал медик, - на выписку!

- Горячки нет, да слаба еще, - заметил фельдшер.

- Так дни через три.

- О боже, что со мной делается? - вскрикнула Саломея, когда вышел медик.

- Э, голубушка, верно, впервые попала сюда, - проговорила лежавшая с другой стороны баба, которой покровительствовал сторож и принес тайком штофик водки. - Послушай-ко, - тихо произнесла она, - жаль мне тебя, на-ко откушай глоточек, это здоровее будет.

Какой-то внутренний жар пожирал Саломею, ничто не утоляло его, и жажда томила; она готова была пить все, что предлагали ей.

- Э, довольно, довольно, будет с тебя, голубушка, - тихо проговорила баба, отдернув полуштофик от уст Саломеи.

Она заснула; сон был крепок и долог. Проснувшись, она чувствовала в себе более сил и какое-то равнодушие ко всему. Но это не долго продолжалось - дума, тоска, страх стали томить ее снова, и снова ей хотелось забыться, впасть в то же бесчувствие, которым она наслаждалась и за которое обязана была соседке. Просить она не решилась; не могла победить чувства стыда.

В это время какой-то благодетельный купец вошел в лазарет и роздал больным по рукам милостыню. Саломея получила также на свою долю гривенничек.

- На тебе, голубушка, моли Бога о здравии Кирилы и Ирины...

Саломея содрогнулась. «Я нищая!» - подумала она и не знала, чем убить горделивое чувство самосознания.

- Послушай-ко, сложимся на кварту, - сказала ей соседка.

Саломея молча отдала ей гривенник.

Через несколько дней фельдшер пришел со списком выписываемых из лазарета.

- Ну, убирайся, выходи! - сказал он, подходя к Саломее, которая в это время забылась тихим сном.

- Куда? - проговорила она очнувшись.

- Куда? На волю, - отвечал с усмешкой фельдшер.

- Я не могу, я еще слаба...

- Ну, ну, ну! Не разговаривай! Вам тут ладно лежать-то, нечего делать, - ну!

Саломея с испугом вскочила с нар.

В числе прочих выписанных колодников ее вывели на двор. Смотритель тюрьмы стал всех принимать по списку.

- А это что ж, без имени? Как тебя зовут? ты!

- Я... не помню... - проговорила Саломея дрожащим голосом, и на бледном ее лице показался румянец стыда и оскорбленного чувства.

- Ты откуда?

- Не помню, - ответила Саломея, смотря в землю.

- Экая память! Ха, ха, ха, ха! Постой, я припомню тебе!

- А за что ты попала сюда?

- Я сама не знаю! Слезы хлынули из глаз ее.

Смотритель посмотрел и, казалось, сжалился.

- Гони их покуда в общую. Постой! Отправить к городничему двух из беспаспортных на стирку; да нет ли из вас мастерицы шить белье тонкое?

Все промолчали; Саломея хотела вызваться, ей страшно было оставаться в тюрьме; но унижение быть работницей показалось еще ужаснее.

- Прочие-то пусть стирают здесь колодничье белье.

Саломея содрогнулась.

- Я могу шить, - произнесла она торопливо.

- Что ж ты молчала? - спросил смотритель, - так отправить ее к городничему.

Солдат повел Саломею вместе с другой женщиной. Проходя по улицам, она закрыла лицо рукой; ей казалось, что все проходящие узнают ее, останавливаются и рассуждают между собою о ней без всякого сожаления, смеются, называют беглой. Смятение в душе Саломеи страшно; но унижение не в силах побороть спесивых чувств; вместо смирения они раздражаются, вместо молитвы к Богу клянут судьбу. Без сознания высшей воли над собой и без покорности человек - зверь.

Саломею привели на кухню к городничему.

- Вот, смотритель прислал двух баб, для стирки, - сказал солдатик кухарке.

- Ладно, - отвечала она.

- Кому ж сдать-то их?

- А кому, сам оставайся; я их стеречь не стану.

- Сам оставайся! Чай, не одни эти на руках; у вас тут свои сторожа есть.
- Конечно, про тебя; вестовой-то то туда, то сюда, дровец наколоть, воды принести... есть ему время!
- А мне-то что! Извольте вот доложить, что я привел двух баб.
- Подождешь! помоги-ко лохань вынести.
- Как бы не так! сейчас понесу, держи карман!
- Ах ты, тюремная крыса! Неси-ко, мать моя, со мной, - сказала кухарка, обратясь к Саломее.
- Ну, что ж ты?
- Я, моя милая, не для черной работы прислана! - отвечала вспльчиво Саломея, бросив презрительный взгляд на кухарку.
- Ах ты, поскудная! Тебя в гости, что ли, звали сюда?
- Солдат, запрети этой твари говорить дерзости! - вскричала Саломея, дрожа от гнева. Вызванный на покровительство солдат приосанился.
- Да, - сказал он, - не смей бранить ее! Я не позволю! Вишь, взялась какая!
- Поди-ко-сь, посмотрю я на тебя! пьфу!
- Ах ты, грязная кухня!
- Как ты смеешь браниться, гарниза, свинопас! Вот я барину скажу, он тебя отдует!
- За тебя? Падаль проклятая! нет, погоди!
- Так и шваркну мокрой мочалкой! - крикнула кухарка.
- Попробуй! - сказал солдат, наступая на нее.
- Разбойник! - вскричала кухарка и, швырнув в лицо солдату мочалку, выбежала из кухни во внутренние покои. Вслед за ней полетела скалка.

Солдат не успел еще прийти в себя от нанесенной ему обиды, как вошел в кухню городничий, человек лет за тридцать, не более, простой наружности, но взрачный собою, в отставном егерском мундире, перетянутом и гладенько сидящем. По всему было видно, что щегольство ему еще в новость, что душа его еще не нагулялась вдоволь, глаза не насмотрелись. Поступив на службу, он очень счастливо был ранен и только в бытность в Яссах для излечения раны начал пользоваться жизнью и вкушать ее блага. Он стоял на квартире у куконь Катеньки, вдовствующей после двух мужей: капитана де-почт и капитана де-тырк. Куконя Катенька еще в кампанию 1810 года полюбила русских офицеров, учила их по-молдавски и сама выучилась по-русски. Соболезнуя о раненом постояльце своем, она посылала к нему почти всякий день разных дульчецов и плацинд, то с бараниной, то с миндалем на меду. Это заочное участие породило в благородном сердце, еще не испытывавшем любви, какое-то особенное, нежное чувство. Молодой штабс-капитан Щепиков начал мечтать о благодетельной фее и беседовать о ней со старой фатой, то есть с девушкой, которая приходила с подносом сластей и говорила:

- Пуфтим боерь, куконица прислала узнать о здоровье.
- Очень благодарен куконице; здорова ли куконица?
- Сэнатос, сэнатос! Слава луй домнодзеу!
- А что, хорошенькая куконица? - спросил наконец штабс-капитан.
- А! таре фор мое! таре бун!

Штабс-капитан понимал, что это значит «очень хороша, очень добра».

Когда ему можно было уже прогуливаться по комнате, куконица часто являлась на бельведере крыльца. Сначала он испугался ее доброты, но скоро привык. Румяное, полное лицо, черные глаза под густыми бровями, черные, как смоль, косы, перевитые на голове с жгутом шитого золотом кисейного платка с золотой бахромой, бархатная на горностаях кацавейка, словом, все пленило его. При первой возможности натянуть на плеча мундир наш штабс-капитан явился к куконе Катеньке с подвязанною рукою и с благодарностью за ее внимание и ласки. Куконя Катенька усадила его на широкий диван, немедленно же вынесли на подносах ликер, дульчек, кофе и трубку. Щепиков не мог отговориться от убедительного пуфтим и очень был счастлив.

Куконя Катенька объявила ему, что она не позволит, чтоб он имел свой стол, и предложила обедать вместе с ней. После обеда и вечер проводили очень занимательно; постоялец и хозяйка играли в карты, в кончину. После трудов службы, после болезни и тоски уединения это привольное препровождение времени показалось Щепикову высочайшим благом; он так привык к куконице Катеньке, к ее угощениям и к ее заботам о себе, что когда война кончилась, войска возвращались в матушку Россию и ему следовало расставаться с нею жизни, он пришел в отчаяние. Куконя Катенька также в отчаянии сказала, что она умрет без него. Этого нельзя было перенести. Щепиков предложил ей руку и женился. На другой день свадьбы привезли с хутора трех куконешей и куконицу.

- Сандулаки, Петраки, Иордаки, Зоица, целуйте своего тату, - сказала кукона Катенька, подводя детей к молодому своему супругу.

- Чи есть аста? - крикнул он с удивлением по-молдавски.

- Это мои, - сказала радостно кукона Катенька, глядя по голове Сандулаки, Петраки, Иордаки и Зоицу.

- Ты мне не сказала, - проговорил Щепиков запинаясь.

- Ты шутишь, верно, как будто ты не знал? - отвечала кукона Катенька.

- Ей-богу, не знал!

- Какой ты смешной! Как же мне не иметь детей, когда я была замужем за куконом Тодораки, а потом за куконом Семфераки, - сказала нежно кукона Катенька,

- Право, не знал!

- Как же, вот они.

Щепиков приласкал Сандулаки, Петраки, Иордаки и Зоицу, которые смотрели на него исподлобья.

Таким образом, не думая, не гадая, обработав без забот и хлопот свои дела, Щепиков сперва в дополнение упрочения своей будущности подал в отставку, а потом, продав хутор и дом, отправился с огромным семейством в Россию очень важно: он и супруга в венской будке, а все дети и люди в брашеванке. После походных путешествий с полком ему это действительно казалось очень важно, только воздух окружающей его атмосферы как будто стал тяжелее для дыхания да как будто Катерина Юрьевна, сиречь кукона Катенька, держала его за хвост, чтоб не ушел. Щепиков привык ходить тихим, скорым и вольным шагом; но куконе Катеньке и тихий солдатский шаг был непомерно скор; она поминутно вскрикивала:

- Куда ж ты торопишься? Я не могу так скоро ходить!

- Ах, боже мой, - говорил Щепиков - да как же мне еще идти?

Щепиков ехал в Россию. Но куда ж он ехал в Россию? У Щепикова ни в границах России, ни за границей не было ни роду, ни племени, ни кола, ни двора, ни тычинки. Отец его также был не что иное, как полковой походный человек, на походе женился, на походе родил его, на походе вскормил, записал в полк и в заключение на походе похоронил жену и сам умер, представив дальнейший поход совершить сыну и благословив его служить верой и правдой.

Катерина Юрьевна, судя по молдавским капитанам, никак не воображала, чтоб у русского капитана не было какой-нибудь мошии с курте бояреск, с огромной градиной, с толпой слугитров, со всем хозяйством, со всеми принадлежностями. Мысленно представляла она себе, что за отсутствием хозяина управляет этой мошией какой-нибудь ватаман, что все в беспорядке и она приведет в порядок.

Желая подарить себя внезапностью исполнения своих ожиданий, кукона Катенька не спрашивала своего мужа о его имени, ни как велико оно, ни в каких палестинах обретается. Но после долгого пути по России она, наконец, утомилась и спросила: да скоро ли же мы приедем?

- А вот постой, душа моя, приедем, - отвечал Щепиков, обдумывая, куда ему приехать: в Тверь ли, где была некогда полковая квартира полка, в котором служил папенька, или в Подольск, где была полковая квартира полка, в котором сам служил. Подольск, по некоторым приятным воспоминаниям, был предпочтен родине. И вот приехали, остановились в гостинице.

- Ах, как надоела дорога! - сказала Катерина Юрьевна, вылезая из будки, - да скоро ли мы доедем?

- Приехали, - отвечал Щепиков торжественно, думая обрадовать свою супругу постоянной квартирой.

- Как приехали? Это гостиница.

- Гостиница; мы в гостинице остановимся, покуда найдем квартиру.

- Квартиру? Как квартиру? Да зачем же квартиру?

- А как же, мы здесь будем жить; это прекрасный город.

- У тебя хутор или имение здесь подле города?

- Какое имение? Нет, имения нет.

- Да что ж тут такое?

- Ничего, просто город.

- Да зачем же мы будем жить в нем?

- Как зачем? Где ж жить-то?

- Так у тебя нет имения?

- Какое ж имение, кто ж тебе сказал, что у меня имения?

Катерина Юрьевна точно так же удивилась неменью даже собственного хутора, как Щепиков удивился явлению Сандулаки, Петраки, Иордаки и Зоицы.

- Что ж мы будем здесь делать? - вскричала она.

- Как что? Жить будем.

- Да для чего ж мы здесь жить будем?

- Как для чего? Я тебя не понимаю.

- Да что ж у тебя тут есть своего? Зачем мы сюда приехали? Отец и мать, что ли, есть или родные?

- Нет, тут родных у меня нет.

- Да где ж они?

- Родных у меня нет.

- Что ж у тебя есть-то?

- Как что? Я тебя не понимаю.

- Сараку ди мини! - вскричала Катерина Юрьевна, - ничего и никого нет! Да что ты такое?

- Как что, Катенька, я тебя не понимаю.

- Цыган, что ли, ты? землянки своей нет! Сараку ди мини!

Щепиков задумался было: что ж он в самом деле такое? Но когда Катерина Юрьевна назвала его цыганом, он обиделся, надулся и вскрикнул:

- Извините-с, я не цыган, а офицер, капитан.

- Только-то? Что ж из этого? Ну, капитан, где ж у тебя капитанство-то, а?

- Как где?

- Да, покажи мне его!

- Извольте-с! - сказал Щепиков откашлянувшись, - из-вольте-с!

И он полез в портфель и, вынув лист бумаги, подал его своей супруге.

- Извольте-с!

- Это что такое?

- Указ об отставке.

- Только? Только-то у тебя и есть за душой?

- Чего ж больше?

- Сараку ди мини! Зачем я поехала? Дом и хутор съедим: что мы будем потом есть?

Щепиков призадумался было снова, смотря на отчаяние своей жены. Но когда она опять раздосадовала его, повторяя тысячу раз: «Что мы будем есть?», - «Ешьте меня!» - вскричал он, наконец, в сердцах и ушел проходиться с горя по городу и насладиться воспоминанием. Но город как будто опустел; та же улица, вымощенная плитняком и как будто встряхнутая землетрясением, те же дома, да что-то все не то, что было. Подле города тот же крутой берег, долины, каменоломни, лесок на горе, да что-то все не так мило, как бывало.

- В самом деле, зачем мы приехали сюда? - спросил сам себя Щепиков. - Да куда ехать-то?

Не привыкнув управляться сам собою и не зная, что с собой делать, отставной капитан стал тосковать по полку своему как по родине; вне полка все ему было чуждо. Там не было забот, не о чем было задуматься: что велели и как велели - исполнил и прав. Посреди постоянных занятий как-то не скучалось: то на смотр, то на ученье, то в караул; а радость-то, радость какая на душе, когда все пригнано, выравнено, все чисто, исправно, шаг ровный и твердый, выправка - загляденье, темп - заслушаешься; а как грянет: «спасибо, ребята!» - в сердце так и закипит радостное чувство. «Что, брат, каково?» - скажешь товарищу. - «Славно, брат! пойдем обедать». - «Нет, брат, есть не хочется». И до еды ли, когда душа сыта удовольствием: все сошло с рук благополучно, генерал доволен и благодарил, и полковой командир сказал только: «В третьей шеренге, слева четвертый, сбился с ноги! во всем взводе заметно колебанье!...»

Теперь же что делать Щепикову с женой и с четырьмя детьми своих предшественников на брачном ложе - с Сандулаки, Петраки, Иордаки и Зоицей? Начал было он их учить становиться во фронт и по слову налево кругом делать, да такие увальни, что ужась, толку не добьешься; а наказывать Катерина Юрьевна не позволяет.

После долгих дум и частых упреков жены Щепиков набрел на мысль: просить о назначении куда-нибудь в городничие. В добрый час подал просьбу, долго не было ответа; Катерина Юрьевна девятьсот девяносто девять раз повторяла уже:

- Ну, как это можно, чтоб тебя назначили капитаном де-тырк, статочное ли это дело! Кукон Семфераки, бывши капитаном де-тырк, нажил дом, хутор да две деревни имел на посессии, - где ж тебе такое счастье?

Только что произнесла в тысячный раз эти слова с разными подробностями Катерина Юрьевна, как вдруг с почты конверт о назначении Щепикова городничим некоего уездного града. Хотя Катерина Юрьевна вдвойне была тяжела, но вспрыгнула от радости.

- Что? - сказал Щепиков.

- Да! - отвечала она и тотчас же начала собираться в дорогу.

И вот Щепиков городничий. Сшил себе новый отставной мундир вперетяжку, купил шляпу с раскидистым пером, приколотил сам к сапогам шпоры и зашеголял. Катерина Юрьевна не в первый раз за капитанам де-тырк, и потому завела кое-какие молдаванские порядки в отношении снаряжения дома и снабжения его всем бесспорно необходимым, и наставляла мужа, как ему обделывать свои дела и по службе и по дружбе. Но держала его в руках: он мог как душе угодно важничать, но ухаживать и любезничать - избави Боже! Катерина Юрьевна знала каждый его шаг. С почтенными дамами дозволялось ему садиться рядом и беседовать, но чуть помоложе - даже с наружностью оттиснутой начерно, Катерина Юрьевна подымала дым коромыслом.

- Вижу, вижу, что это значит, к чему это ведет! Шашни! Да я не дура! - нередко случалось слышать Щепикову.

- Помилуй, душа моя, с чего это ты взяла? - восклицал он.

- И не говори! Если еще что-нибудь замечу, и тебя осрамлю и ее.

Таким образом природная любезность Щепикова с женским полом была на привязи. Хотелось иногда бросить пленительный взгляд, сказать сладкую речь, словом, приволокнуться, да того и гляди, что жена увидит, заметит, узнает и сочинит целую историю. Ужасно как горестно вздыхал Щепиков, что ни на ком нельзя было изострить своего сердца, притупившегося об жесткую, подозрительную любовь Катерины Юрьевны.

Большая часть смертных так уж устроена: чего не велят, чего нельзя, об том и тоска. Казалось бы, чего еще Щепикову: кукона Катенька такая добрая, что из нее можно было выкроить по крайней мере трех существ subtilных, пару худошавых и на придачу одно существо сухопарое. Одной косы ее достало бы на дюжину головок светских, не нуждающихся в привязных косах и накладных локонах, и на другую дюжину головок, у которых вместо кос мышинные хвостики, а локоны так жидки, как борода Конфуция. При таком-то благосостоянии и богатстве телесного здоровья супруги своей Щепиков вздыхал часто о существах худеньких, жиденьких и нуждающихся в здоровье и вате.

Когда по жалобе кухарки Щепиков вышел в кухню, наружность Саломеи, несмотря на крестьянскую одежду, так его поразила, что он, собравшись было крикнуть: «Как ты смел драться?» - крикнул только: - Как! Ты это ко мне привел, для стирки?

- Так точно, ваше высокоблагородие, - отвечал солдатик.

- Пришел, да и начал ругаться такими пакостными словами, - прокричала кухарка.

- Никак нет, ваше высокоблагородие, сама она... Я говорю, что, дескать, вот я привел к его высокоблагородию двух баб для стирки...

- Я не люблю, чтоб у меня ругались, слышишь?

- Кто? Я ругала его?

- А как же? Я говорю, вот я привел к его высокоблагородию двух баб для стирки.

- Тебя как зовут, моя милая? - спросил Щепиков, подходя к Саломее.

Саломея вспыхнула, опустила глаза в землю и молчала. «Какая стыдливость, скромность, приятность в лице, - подумал Щепиков, - это удивительно!»

- Что ж ты не отвечаешь, моя милая? За что ты содержишься?

Саломея вздохнула глубоко, но ничего не отвечала.

- Говори откровенно, не бойся.

- Не могу... - проговорила тихо Саломея, окинув взорами направо и налево.

- «А! понимаю!» - подумал Щепиков. - Ты, моя милая... - начал было он снова, но за дверьми раздалось: «Пала-гея!» Щепиков вздрогнул и как по флигельману быстро обратился к солдату и проговорил: - Да, хорошо, так ты ступай!

И с этими словами исчез.

- Куда ж идти? - спросил солдатик у кухарки.

- А я почему знаю? - отвечала она.

- А тебе-то как не знать, ведь ты здешняя.

- То-то здешняя, а давича ругаться?

- Вот уж и ругаться; так к слову пришлось.

- То-то к слову!

- Дай, брат кухарочка, напиток.
- И то сказать, слово на вороту не виснет. Что тебе, квасу? Садитесь, бабы.
- Хоть кваску, утолить тоску. А! спасибо! вот теперь вижу, что крещеная. Что, пойдешь замуж? - сказал солдат и, оставив ножку, затянул шепотком, отбивая рукой такт, как запевало:

*Вый-ди за-а-муж за-а меня-а
За свицка-а-ва ка-а-раля-а...*

- Тс! что ты распелся!

А не вы-ый-дешь за-а меня-а...

- Авдотья, которая швея-то? - спросила кухарку старая служанка, высунув голову в двери.
- А вот она; ступай, голубушка, в девичью.
- Не в девичью, в светелке барыня приказала посадить ее. Ты и мужские рубашки умеешь шить?

Что отвечала на это Саломея, не слышать было за затворенными дверьми.

II

Теперь мы можем обратиться к Дмитрицкому, проведать, что он делал, с тех пор как расстался с Саломеей и исчез, предоставив ее покровительству всех языческих богов.

Как он кончил этот день, не ведаем. Ночь была темная, не астрономическая, немножко прохладная, роса пала на землю; но, несмотря на это, Дмитрицкий, вероятно, наслаждаясь ночной красотой киевской природы, лежал на траве, на вершине горы над Крещатиком, и бурчал, проводя рукой по лицу, по шерсти и против шерсти, или как делают маленьким детям, приговаривая: «вот эта дорога в Питер, а это из Питера». Эта экзерциция продолжалась до самого рассвета; иногда только для разнообразия он раскидывал ноги, барабанил ими по скату и повторял губами звук: брр! и посвистывал. Наконец, как будто вдруг очнувшись, приподнялся и крикнул:

- Эй ты, свинья темная, куда ушла?... - потом оглянулся на восток и, смотря на восходящее солнце, поклонился ему:

- «А, здорово! Мое почтение! Что, видишь, каков я? Чай, удивительно: что, дескать, сделалось с Дмитрицким: поднялся до свету, натошак прогуливается да посвистывает себе? Ничего не сделалось. Просто маленькая перемена в обстоятельствах. Помнишь, какой богач был Дмитрицкий? А? Помнишь преданье старины глубокой? Давно, очень давно это было: вчера! Целая ночь прошла с тех пор. Добрые люди легли и выспались, а я поклоняюсь восходящему солнцу, как тот... как бишь его? Это что-нибудь да значит? Пьфу! Ничего не значит, просто спать не хочется, нездоровится: карман переполнил, стошнило. А всему причиной Саломея Петровна...

Скверная баба. Нельзя было не взять в руки, разорила бы всех. По крайней мере цель действий возвышенная. А вот этот, грабе Черномский - грабитель, мошенник, низкая душа, шулер! Экой мерзавец: напустил на меня своих собак, - оборвали! Совершенно опустело... И тут пусто, и тут пусто. И желудок-то глупый какой: вчера, когда я мог дать ему обед на тысячу персон - нет! покорно благодарю, нет аппетита! А сегодня, пожалуйста чего-нибудь закусить: а где, брат, взять! Дурак ты, вот и все, молчи! Не хочешь ли похлебать свежего воздуха? Не сытно? Ну, так не хочешь ли еловых шишек, вон там их много! Нет? Ну, так честь приложена, а от убытку Бог избавил. Чем же теперь заняться приятнее? Погулять по берегу Днепра? Пойдем. Гуляй сколько душе угодно. Иной бы отдал по крайней мере половину имения за эту свободу, за здоровье, за этот желудок, который просит есть, а мне они нипочем. Не знаешь, куда деться с этим семейством: воля просит денег, желудок пищи, здоровье просит черт знает чего... Где ж мне взять? Я не казначей, не провиантмейстер и не фактор. Нет, здесь скучно гулять, пойдем ходить по городу. Э, да как славно эта жирная свинья испивает чай! Как привольно расположился в халате у окна - набил за обе щеки хлеба с маслом и чавкает себе, ни о чем не думая!»

- Чего тебе, любезный? - спросил толстый господин у окна, против которого Дмитрицкий остановился и рассуждал вслух.

- Ничего, - отвечал Дмитрицкий, - мне хотелось посмотреть, как вы пьете чай.

- Мерзавец какой! - пробормотал толстый господин, вставая с места и отходя от окна.

- Мерзавец какой! - сказал Дмитрицкий вслух: - ни на грош нет не только что восточного, даже и русского гостеприимства! Не следовало ли ему сказать: не угодно ли, милостивый государь, чашечку? Чашка чаю шелега не стоит, а я бы помолился, чтоб Бог воздал ему за нее сторожею... Пойдем далее, что там есть?

Долго ходил по городу Дмитрицкий. Остановился против одного двухэтажного с колоннами дома, - архитектура дома, казалось, ему очень понравилась.

- Желательно знать, - сказал он, - человек или животное живет в этом доме? Войдем. Послушай, брат, чей это дом?

- Казинецкого, - отвечал слуга, вышедший из передней.

- Григория Петровича?

- Никак нет, Ивана Львовича.

- Да, да, да! Иван Львович, я его-то и ишу. Доложи-ко, у меня есть дело до твоего барина.

- Какое?

- Казусное.

- Да барин теперь кушать изволит; едет в деревню.

- Мне ждать, любезный, некогда; мне нужно только слово сказать.

Человек пошел докладывать и вскоре воротился и сказал:

- Пожалуйста!

В зале целая семья сидела за столом. Осанистый, важный господин встал из-за стола, встретил Дмитрицкого у входа и, осмотрев его с головы до ног, спросил:

- Что угодно?

Дмитрицкий поклонился подобострастно и начал причитать:

- Наслышавшись о вашем великодушии и изливаемых благодеяниях на всех несчастных, угнетаемых судьбою; зная, что сердце ваше отверзто, а душа открыта для блага человечества, что ваша рука изливает щедроты, а чувства преисполнены милосердием, я осмелился прибегнуть к стопам вашим и просить о помощи... Заставьте несчастного отца, отягченного огромным семейством и умирающего с голоду, молить Бога о ниспослании вам...

- Любезный друг, - отвечал барин, не дав кончить рацеи, - чем шататься по дворам да просить милостыню, лучше бы ты принял за какое-нибудь дело да честным образом добывал хлеб...

Дмитрицкий низко поклонился.

- Извините, что побеспокоил; я бы и не осмелился, да иду мимо, вижу такой прекрасный дом, только что построен, чудо, думаю, если уж дом такой, что ж должен быть хозяин... Удивительный дом!

- Ха, ха, ха! понравился?

- Ужасно! Если б только не колонны... Совершенно лишние! Я бы советовал прочь их...

- Не нуждаюсь, любезный, ни в чьих советах! - сказал барин.

- Да и я также ни в чьих советах не нуждаюсь. Я только так, к слову сказал о колоннах. Иду да думаю: к чему эта глупая подпора? Что эти столбы поддерживают? Ничего, так себе стоят. От хозяина также нечего ожидать подпоры. Задумался, да и зашел. Извините, что побеспокоил!

С этими словами Дмитрицкий поклонился - и в двери.

- Ну, теперь куда? - спросил он сам себя. - Постой-ко, пойду к игрецкому атаману Черномскому: вчера он так изливался в дружбе ко мне и от чистого сердца почти заплакал, когда я проигрался шайке его. Я даже уверен, что ему жаль было меня. Уж это такая каналья: будет резать, проливая слезы. «Господи, - скажет, - я хотел только легонько уколоть в бок, а кинжал попал прямо в сердце! Какой несчастный случай!» Это уж такая каналья! Вот посмотрим, что он скажет теперь?

Дмитрицкий вошел в гостиницу, где стоял грабе Черномский. В коридоре спросил он у фактора, дома ли он.

- А дома же, дома, пане; сейчас посылал Иозку искать себе нового слугу: его Матеуш заболел.

Дмитрицкий, не слушая жида, пошел к номеру, занимаемому Черномским, и постучал в двери.

- А цо там еще?

- Я, пане грабе.

- Почекай!

Спустя несколько секунд Черномский отворил двери и удивился, увидев Дмитрицкого.

- Пан Дмитрички! Что пану угодно..?

- Ничего, пан, так, в гости пришел.

- Пан меня извинит: мне нужно идти из дому, - сказал Черномский, стоя в дверях.

- Нет, не извиню, пан; потому что мне хочется чего-нибудь пофриштить.

- Столовая, пан, не здесь, а на том конце коридора.

- Знаю я, где она. Да ведь я не в трактир к пану и пришел.
 - Но... и у меня, пане, не трактир.
 - Знаю, знаю, пан; потому-то я без церемоний и пришел; есть ужасно хочется. Иду да думаю: где же мне поесть? Ба! Да ведь у меня есть друг, пан грабе Черномский! Он мне удружил, так, верно, и накормит с удовольствием, и прямо к пану.
 - На хлебах, пане, я держу только своего слугу.
 - И прекрасно; если на словах и на письме можно иметь честь быть покорнейшим слугою пана, отчего ж не на деле? Что за унижение.
 - У меня слуги по найму, пане.
 - Что ж такое; я, пожалуй, и наймусь. У меня уж такой обычай: пан или пропал. Вчера я был пан, а сегодня пропал - судьба разжаловала из пана в хама, что за беда. Ей-богу, я наймусь, холопская должность мне не новость.
 - А где ж пан служил холопом?
 - Сам у себя; а ведь я строгий был господин: избави Бог худо вычистить сапоги, или платье, или даже туго трубку набить, тотчас в рожу, не посмотрю, что она моя собственная. А за верность поручусь: мало ли у меня было тайн на руках. И не пьяница - пьяным меня никто от роду не видал; и не вор, избави Бог на чужое добро руку наложить.
 Черномский, прислонившись к стене, заложив ногу на ногу и поглаживая рукой подбородок, слушал, прехладнокровно улыбаясь и не сводя глаз с Дмитрицкого. «Лихой каналья, - думал он, - из него может выйти чудный подмастерье».
 - Пан не шутит? - спросил он, наконец, серьезно.
 - Ей-ей, нет!
 - Так мне нужен слуга: мой Матеуш заболел, а мне надо сегодня же непременно ехать.
 - Куда угодно, ясновельможный мосци пане грабе.
 - А что пан требует в месяц за службу свою?
 - Из хлебов, пан, за деньги я не служу. Деньги - черт с ними, деньги подлая вещь, у меня же карман с дырой, что ни положи, все провалится; а потому я кладу деньги на карту и спускаю их в чужие карманы. Пан знает об этом, нечего и говорить.
 «Лихой каналья, жалко с ним расстаться, - думал Черномский, - боюсь только...»

(Продолжение следует)



Если вам удалось обмануть кого-то, не думайте, что он дурак. Просто человек доверял вам больше, чем вы того заслуживаете.

Александр Фомич Вельтман.



Деньги не портят человека. Они просто показывают, кто он есть на самом деле.

Никак седина...

Никак седина не придёт в мою бороду,
 И бес успокоился в правом ребре.
 Ты знаешь, сегодня я ехал по городу,
 По спящему городу ехал к тебе...

И словно ребёнка, руками качаю я...
 Мгновенья, которые вместе с тобой.
 Казалось бы день... отчего же скучаю я?
 И город, знакомый, немножко другой...

Кончается март, и в сугробах проталины,
 Стучит молоточком по окнам капель.
 И город простужен, распухли миндалины,
 А вылечит только грядущий апрель.

Весна, как девчонка в любви неумелая,
 Стыдливо ведёт обнаженным плечом.
 Я платье куплю тебе белое-белое,
 Красивое очень, не важно почём.

И звёзды гирляндой светили бы с неба нам,
 Летали б обрывки афиш, слов и фраз,
 Прости, что и свадьбы у нас-то и не было,
 А ЗАГС? Не считается. Это лишь ЗАГС...

Я платье куплю тебе белое, милая,
 Фонарный зажжется над городом свет,
 Ты в нашем апреле такая красивая!
 Таких в этом городе, знаешь ли, нет...

На карте страна разноцветными точками.
 А ветер шалит, лепестки тербя.
 Наверное спишь рядом с маленькой дочкою.
 Скучаю. Казалось бы - день без тебя...

Никак седина не придёт в мою бороду,
 И бес успокоился в ребрах. Покой.
 Ты знаешь, сегодня я ехал по городу.
 По городу. Чтобы остаться с тобой.

Александр Гутин.



Мария Всеволодовна Крестовская

(1862 - 1910 г)

Ранние грозы



Продолжение

(начало в № 60)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



XIV Давно уже переехала Марья Сергеевна с Наташей на дачу. Стояла уже июльская жара, то и дело прерываемая сильными грозами. Зрел хлеб, и по вечерам в синем небе, усеянном звездами, поминутно вспыхивали красные зарницы. Зато вечером, когда спадал удушливый жар и наступала ночь, лунная, ароматная, темная, вся точно дышащая негой и страстью, Марья Сергеевна выходила на балкон и подолгу засиживалась там, задумчиво всматриваясь в звездную синеву небес.

Вот уже скоро два месяца, как она была почти постоянно в каком-то экзальтированном состоянии. Она даже не могла решить, счастлива ли она страстным, безумным, захватившим всю ее счастьем или же несчастна, но несчастна ужасным, глубоким и непоправимым несчастьем, которое порой охватывало ее сознанием такого ужаса и горя, что она не видела и не умела найти себе ни оправдания, ни исхода. Мучительнее всего осознавала она это в те редкие теперь минуты, когда ей случайно приходилось оставаться вдвоем с Наташей.

Оставаясь наедине с дочерью, она терялась и не знала, о чем говорить и как держаться с ней. Хотя Наташа не говорила ей ни слова, но Марья Сергеевна сознавала, что дочь не только понимает все, но и наблюдает за ней.

Марья Сергеевна влюбилась со всею страстностью тридцатитрехлетней женщины, еще никогда не любившей. Порой, когда она спрашивала себя: как это началось, когда, с какого момента, - она терялась и не знала сама; теперь ей казалось, что с первой встречи она уже любила его, ей казалось даже, что она всю свою жизнь инстинктивно ждала его...

Если в начале их знакомства она не осознавала еще ясно своей любви к нему, то теперь уже была уверена, что с первого же момента поняла ее роковую неизбежность, и только испугавшись этой мысли, обманывала самое себя, уверяя, что относится к Вабельскому только как к другу. Потому-то и антипатия Наташи к нему так задевала и раздражала ее на первых порах. Теперь Марья Сергеевна понимала все это и уже не боролась со своим чувством. Она отдалась увлечению сполна и, сознавая внутренне весь его ужас, нарочно закрывала глаза и старалась не думать ни о чем и все забыть. Будь что будет, но бороться больше она уже не могла и не чувствовала в себе силы противостоять своему падению. Но чем сильнее осознавала она свою вину, чем больше видела препятствий, тем больше любила наперекор и рассудку, и закону, и всему миру. Вне этой любви для нее не существовало ни жизни, ни интереса. Она стала холодна и безучастна ко всему, что не касалось Вабельского и ее чувства к нему. Она вспыхивала и смущалась при его имени, как шестнадцатилетняя девушка, и, думая о нем, вспоминая его ласки, слова, поцелуи, замирала в сладком восторге. Она любила даже все то, что принадлежало ему, чего касался он. Даже его черного пуделя она ласкала с особенной нежностью, потому что это была "его" собака. Его перчатка, платок, книга, запонка - все казалось ей чем-то священным и дорогим.

Бывали минуты, когда холодность с ним Наташи оскорбляла и возмущала ее до такой степени, что ей даже начинало казаться, что она перестает любить своего ребенка. Тогда невольный ужас охватывал ее: неужели она дойдет даже до этого?! На мгновение в ней просыпалось раскаянье, и даже вновь рождалось желание бороться с охватившим и порабовавшим ее недугом. В эти минуты ее любовь казалась ей преступлением до такой степени безобразным, что ее охватывало бесконечное презрение к самой себе. "Как могла я? Как могла..?" - спрашивала она себя, и какой-то священный страх не только перед мужем, Наташей и самой собою, но и перед Богом овладевал ею.

Она хотела молиться о спасении, о прощении - и не могла. Она не дерзала обращаться с молитвой к Богу и в ужасе ждала себе возмездия и наказания.

Вабельский смеялся над ней, если она повторяла ему свои "страхи", как он выражался, и, называя ее "своею институточкой", советовал смотреть на вещи проще и спокойнее.

- Весь мир делает то же самое, однако, никаких несчастий не происходит. К чему же волноваться и мучиться по пустякам? Все это излишняя впечатлительность, которую нужно сдерживать, иначе можно ведь и до сумасшествия дойти...

Он утешал ее со снисходительной улыбкой старшего, успокаивающего ребенка.

- Не надо делать себе горя там, где, в сущности, можно найти много счастья!

Пока он был подле нее, пока она чувствовала его присутствие, ласки и любовь, она невольно забывала весь мир и соглашалась с ним, что это, действительно, только счастье. А если это счастье и даст ей впоследствии горе и позор, так разве оно не стоит того, чтобы ради него вынести все, пожертвовать всем? Пусть потом обрушатся на нее все несчастья, пускай даже "там" не получит она прощения, лишь бы теперь не отнимали у нее ее счастья. Но он уходил, и она опять оставалась одна, не смея пойти к дочери и избегая даже посторонних людей.

Ей казалось, что все знают про ее падение, все порицают ее, и в каждом лице, в каждом слове и взгляде она находила что-то подозрительное, укоряющее и презрительное. И, боясь убедиться в этом сильнее, она избегала всех знакомых и старалась даже не выходить днем, предпочитая оставаться одна - так ничто не мешало ей думать, мечтать о нем и снова все переживать. Но в длинные, бессонные ночи тоска и страх снова нападали на нее. Она стала бояться темноты, и на ночь ей зажигали лампаду перед висевшим над ее кроватью старинным образом Нерукотворного Спаса, которым ее благословил отец перед смертью, когда она была еще совсем маленькою. С этой иконой она не расставалась никогда, но теперь, глядявываясь порой в темный лик в почернелой от времени ризе, ей начинало казаться, что он точно оживает и, обливаемый трепетным светом лампы, судит и карает ее своим строгим взором. И она вся холодела в ужасе, закрывая глаза и тревожно прислушиваясь к малейшему шороху.

Но начинало светать, золотистые лучи проникали сквозь белые шторы и освещали комнату. Дневной свет успокаивал ее нервы, и ночной ужас и страх рассеивались вместе с последней тенью ночи. Тогда порой на нее нападало вдруг озлобление. К чему она мучает и терзает себя вместо того, чтобы просто любить и наслаждаться? Разве мало знает она жен, изменявших мужьям, и не только с одним, но увлекавшихся многими; ее же собственные приятельницы признавались ей и поверяли ей разные интриги не только без укоров совести, но даже с некоторым удовольствием, и, вместо раскаянья перед мужьями, их же презрительно называли дураками, а о детях даже и не думали и отнюдь не считали себя виновными перед ними в чем-нибудь. И если бы кто-нибудь сказал им это, они, наверное, отвечали бы: «Вот глупости! Какое же дело детям? Одно другому не мешает. Еще мужья - это пожалуй, но они должны винить только самих себя: никто не виноват, что они глупы и не умеют удержать навсегда нашу любовь».

А она, - порой она готова убить себя... Кто же вернее смотрит на жизнь - она или эти приятельницы?

Конечно, она сознавала, что Павел Петрович не дурак, в этом не было его вины, но в минуты озлобления она находила ему другую вину. Не он ли виноват, что ее чувство к нему не разрослось в такую же глубокую любовь и страсть, какою теперь она любит другого? Она всегда была тою же, что и теперь, но он сам искусственно заставлял ее дремать. Кто же виноват, что другой разбудил ее? Быть может, любил и он всю полнотой жизни в двадцать пять, в тридцать лет, а к ней пришел уже успокоившийся и бесстрастный. И женился на ней не для любви и жизни, а для успокоения от всех страстей и бурь. Подумал ли он тогда о ней? Подумал ли, что ей - только семнадцать лет, что она-то и не начинала еще жить и что, рано ли, поздно ли, натура потребует своего? Конечно, он забывал о ней и думал только о себе, об устройстве лишь своего жизненного комфорта. А если он любил и жил, то почему же она не имеет на это права? Остается Наташа. Но и у Наташи будет своя жизнь, свои увлечения, свои чувства, и если она обвиняет ее теперь, то когда-нибудь, полюбив сама, верно, поймет и простит свою бедную мать.

Время быстро летело, июль был уже на исходе, и Марья Сергеевна тревожно поджидала мужа, как вдруг в одном из писем он уведомил ее, что дела осложнились, придется продлить командировку и раньше конца августа ему не вернуться. Марья Сергеевна радостно вздохнула: сама судьба за нее - еще немного отсрочки, еще лишний месяц никем не тревожимого счастья.

Она перечитала еще раз письмо, точно все еще не веря ему, и улыбка, слегка насмешливая и презрительная, искривила углы ее губ. Уже давно начала появляться у нее эта улыбка при чтении писем Павла Петровича. Их тон, всегда немного деловой и торопливый, где единственными ласковыми словами были обычные фразы в начале: "милая Маня", и в конце: "обнимаю тебя и Наташу, и остаюсь любящий тебя муж, П. Алабин", раздражали теперь Марью Сергеевну. Она осознавала, что этот человек, несмотря на все свое неумение выражаться нежно и страстно, в душе все-таки любил и ее, и Наташу. Но какую серенькою казалась ей теперь его любовь в сравнении со страстью Вабельского!

Марья Сергеевна нехотя садилась отвечать ему и писала тем обыкновенным слогом, каким в большинстве случаев переписываются жены с мужьями после пятнадцатилетней совместной жизни. В прежние годы она не замечала его "чиновничьего тона" и сама не терялась в своих письмах к нему. И теперь еще, по привычке, писала она ему о разных мелочах и переменах в доме: о том, например, что переменяла кухарку, которая стала сильно пить, что отдала перекрыть мебель в гостиной, что получила письмо от тетки и подписалась на новый журнал, исполнила все его поручения и т. д. Только письма ее стали более натянутыми, так как, не зная, о чем писать и боясь обмолвиться хоть маленьким намеком, она нарочно подбирала разные хозяйственные мелочи и старалась скорее закончить письмо, подписав привычную ей фразу: "Я и Наташа крепко целуем и обнимаем тебя. Да сохрани тебя Господь! Твоя жена, М. Алабина".

Запечатав, наконец, конверт, она с облегчением вздохнула, думая о том, что целую неделю ей не надо будет опять лгать и мучиться над составлением ему письма. Зато, словно в утешение и награду себе, она писала Вабельскому, переполняя все письма к нему страстною любовью, нежными именами и ни на одну секунду не задумываясь, "что дальше". Впрочем, ей недолго пришлось писать ему. Вабельский скоро переехал на дачу по соседству с ними.

XV Переехав на дачу, Вабельский стал проводить у Алабиных почти все время. Это было тем удобнее для него, что летом обычно дел у него бывало всегда меньше.

С этих пор для Марьи Сергеевны настал лучший период ее счастья. Видя Вабельского постоянно около себя, она забывала и страх, и мучения совести. Даже сознание, что его частое присутствие может ее скомпрометировать, не останавливало ее. Тем не менее даже в собственной прислуге Марья Сергеевна подмечала что-то новое: какие-то двусмысленные и таинственные улыбочки. Феня говорила теперь про Вабельского не иначе, как "наш барин", и если ей случалось передавать Марье Сергеевне какие-нибудь записки от него или обратно, то она всегда принимала такой таинственный и странный вид, что Марья Сергеевна невольно вспыхивала и конфузилась, а Вабельский поспешно давал на чай.

Но все это были еще мелочи, которые лишь слегка отравляли ее счастье. Главное было впереди и должно было начаться с приездом Павла Петровича. И, предчувствуя близость этого "главного", Марья Сергеевна спешила воспользоваться оставшимся ей уже недолгим свободным временем и выпить до дна свою чашу любви и счастья, стараясь не замечать и обходить как-нибудь все, что отравляло и затуманивало это счастье.

С тех пор, как Вабельский переехал на дачу, Марья Сергеевна стала энергичнее, и, слушая его советы, невольно подчинялась им, заражаясь отчасти его взглядами. Даже к натянутым отношениям с дочерью, которые так мучили ее сначала, она мало-помалу привыкла и уже меньше обращала на них внимания. Чем больше проходило времени, тем горячее привязывалась она к Вабельскому. Если в начале их любви на нее порой и находили еще сомнения, и она не отдавала отчета себе, долго ли это продлится и будет ли это полным переворотом в ее жизни, то теперь она уже ясно осознавала, что прекратиться это может только с ее смертью. Она чувствовала, что разлюбить его уже не в силах.

Что касается Вабельского, то в начале его ухаживанья за Марьей Сергеевной он глядел на их отношения не более, как на обыкновенную интригу, которыми пересыпана была вся его жизнь. Хотя сама трудность победы, отчасти осложняя их, бросала на них некоторую тень серьезности. Ответственность и значение их были все-таки больше, чем со всеми остальным женщинами, с которыми до сих пор у него были романы. Сама многочисленность этих романов заставляла его относиться к ним легко и поверхностно, не делая из них "вопросов жизни".

Не желая жениться, он никогда не ухаживал за девушками из опасения "быть пойманным" и, избегая продолжительных и серьезных связей, старался всегда благоразумно сдерживать свое увлечение и увлекаться лишь настолько, насколько это нравилось ему самому, не мешало делам и не изменяло хода его жизни. Но при всей легкости своих взглядов на женщин он, в то

же время, очень любил их по привычке и скучал, если в какой-нибудь период его жизни не случилось никаких интриг.

Вабельский находил, что все женщины более или менее одинаковы и что в каждом слое общества есть и хорошенькие, и интересные, и что, следовательно, гораздо благоразумнее выбирать тех, которые были более удобны для подобных отношений. Почти за всю его жизнь ему ни разу не случилось еще ухаживать за вполне порядочной женщиной. Он знал, что ни у одной из своих любовниц он не был ни первым, ни последним даже любовником, и это знание упрощало его отношения с ними. С Марьей Сергеевной у него с самого начала пошло дело не совсем так, как всегда. Но если он и знал, что с этой женщиной придется, пожалуй, "повозиться", как он мысленно говорил, подольше, чем с другими, то, во всяком случае, отнюдь не предполагал, что эта связь может сделаться постоянной, серьезной и совершенно перевернуть спокойное и приятное течение его жизни. А пока некоторая доля серьезности в ней и в их отношениях слегка даже нравилась ему. Он чувствовал себя уже уставшим и пресыщенным всеми своими легкими похождениями.

Хотя дел у него как у одного из самых модных и блестящих адвокатов в столице было множество и куши за эти дела он получал порой огромные, но денег у него никогда не водилось. Зато его квартира, в которой он проводил только ночи да часы приемов, была одной из самых шикарных в Петербурге, рысаки - одни из лучших в городе, и даже женщин он предпочитал именно тех, которые дороже стоили. У него на все образовался какой-то особенный вкус, что и было главной причиной его частого безденежья.

Марья Сергеевна не только не стоила ему ничего сама по себе, но, сойдясь с нею, он и жить стал гораздо тише. Не требовалось безрассудного бросания денег на ветер. И эта "передышка", как он мысленно называл свои отношения с ней, ему очень нравилась. "Отчего бы и не поскромничать полгода?" - говорил он.

Ее красота всегда сильно возбуждала его, а под влиянием своей любви к нему Марья Сергеевна, казалось, похорошела еще больше. Эта страстная любовь, переходившая порой в какое-то безумное обожание, не только нравилась, но и льстила ему. Вабельский был красив, ловок и умен в модном смысле слова, а потому увлечение им женщин не было для него новостью; но сколько он ни припоминал, так глубоко, искренно и бесконечно его не любила еще ни одна, и, несмотря на то, что страстное обожание Марьи Сергеевны временами даже смешило его, но чаще оно трогало его и удивляло, рождая и в нем самом невольное больше нежности и уважения к ней. Больше всего в их отношениях ему не нравилась Наташа. Он находил, что без нее было бы лучше и спокойнее; девочка, положительно, мешала и чаще всего остального вызывала в матери упреки совести, раскаянье и слезы, всегда немного скучноватые для него. Он старался предугадать поведение Наташи по возвращении Павла Петровича и слегка побаивался, как бы она не испортила им чего-нибудь...

Это возвращение, которое должно было последовать очень скоро - гораздо скорее того "полгодика", который определил себе мысленно Виктор Алексеевич, не совсем улыбалось ему. К тому же решение о полугоде он отчасти уже изменил. "Сколько проживется", - неопределенно решал он.

Вабельский думал, что экзальтированная, не привыкшая к фальши и подобным положениям Марья Сергеевна не сумеет вести дело так, чтобы не прерывать отношений ни с мужем, ни с любовником. И это немного тревожило и беспокоило его. Он надеялся только на свое влияние на ее, которое заставит ее следовать его советам и тем предотвратить кое-какие опасности, хотя ему, уже давно привыкшему к подобным вещам, эти опасности казались гораздо менее серьезными, нежели ей. При мысли о возвращении мужа ее охватывал какой-то беспомощный ужас и страх.

- Что нам делать? Что нам делать! - с отчаянием спрашивала она его.

Вабельский пожимал плечами.

- Прежде всего не волноваться и, главное, не делать драм из того, в чем можно обойтись одной комедией.

Но на этот раз Марья Сергеевна не вполне соглашалась с ним. В своем чувстве и поступках она не могла видеть только "комедию". И это слово было не только непонятно ей, но и больно.

- Во всяком случае, Маня, если ты будешь только плакать да мучиться, ни тебе, ни мне, ни даже твоему Павлу Петровичу легче от этого не станет. Нужно устроиться так, чтобы хоть он, по крайней мере, не мучился. То есть нужно только, чтобы он ничего не знал. А это вполне зависит от тебя - сумей продлить его неведение, а остальное уже будет легко.

Но Марья Сергеевна тоскливо вздохнула; ей это совсем не казалось легко.

XVI Однажды вечером Марья Сергеевна получила телеграмму и, еще не распечатывая ее, уже догадалась, от кого эта депеша и что несет в себе; но, точно желая обмануть себя и продлить свое мнимое неведение, она молча держала ее в похолодевших дрожащих руках, не решаясь сразу распечатать.

Феня спокойно стояла рядом, ожидая расписки, и поднявшей на нее испуганные глаза Марье Сергеевне показалось, что горничная нарочно стоит тут и внутренне посмеивается над ней.

- Где же огонь, дайте лампу! - нетерпеливо окликнула она ее.

Феня молча повернулась и вышла в соседнюю комнату, а Марья Сергеевна осталась одна в темной гостиной.

- Да, я знаю, что в этой телеграмме! - думала она, глядя сухими, горящими глазами куда-то в угол комнаты. - Это конец, конец всего. И завтра начнется что-то новое. Отвратительное.

Феня внесла лампу и поставила ее на стол перед барыней. Марья Сергеевна прочла: "Буду завтра с почтовым. Алабин".

«Да, это конец...» И вдруг ей показалось, что она никогда не предугадывала этого конца. Ей, ежедневно ожидавшей этой телеграммы и возвращения мужа, казалось теперь, что она никогда не ждала его так скоро. «Во всяком случае, не завтра. Я знала, конечно, что это будет, что это должно быть, но не завтра же...»

- Расписаться нужно-с, - напомнила Феня.

Марья Сергеевна тряхнула головой и взяла перо. На мгновение ее глаза встретились опять с усмевающимися глазами горничной, и в ней проснулись гордость и самообладание.

- Завтра барин придет, нужно приготовить комнату, - сказала она, сама внутренне удивляясь естественному, верному звуку своего голоса.

- Боковую?

- Да. Протопите хорошенько, пожалуй, холодно будет.

- Слушаюсь-с...

Феня ушла, взяв расписку.

Марья Сергеевна порывисто поднялась с кресла и быстро вышла на балкон. Весь день шел дождь, и дорожки сада тускло блестели от света, падавшего на них из освещенных окон. На дворе было холодно от той особенной сырости, которая нередко бывает в конце августа и начале сентября, но лицо Марьи Сергеевны горело ярким румянцем.

Вабельский обещал прийти только к девяти часам. Но теперь ей хотелось видеть его и показать ему телеграмму сейчас же. Она не знала, как это сделать. «Послать записку?» Но, вспомнив усмевающееся лицо Фени, Марья Сергеевна отказалась от этой мысли. Сама она избегала бывать на его даче, но в данном случае это было удобнее всего. Только дома ли он?

В конце сада была аллея, с которой днем были видны окна дачи Вабельского. Она вспомнила про это и, осторожно подобрав одною рукой платье, а другой плотнее запахивая на груди оренбургский платок, пошла в ту сторону. Тяжелые намокшие ветви кустарников и деревьев, нечаянно задеваемые ею, ударяли ее по лицу и спине, оставляя после себя мокрый холодящий след. Она торопилась и волновалась так, как будто это мучившее ее "завтра" наступит сейчас же, прежде, чем она успеет предупредить его, и, опершись одной рукой на решетку забора, она приподнялась на цыпочки, стараясь сквозь чашу деревьев и темноту ночи различить его окна. Но они были ярко освещены, и она сразу узнала их. «Дома!»

Слегка вздрагивая от пронизывающей сырости, Марья Сергеевна быстрым и осторожным шагом пробиралась по мокрой траве и скользким от дождя дорожкам к маленькой калитке, из которой был выход прямо на улицу. Вернуться домой и пройти через комнаты она боялась, хотя оттуда было ближе; там ее могла увидеть Наташа и задержать ее, начав расспрашивать что-нибудь о телеграмме. И она шла скорым шагом, с тревожно бьющимся сердцем, радуясь этой темноте и дурной погоде, которые ограждали ее от свидетелей...

Виктор Алексеевич сидел за письменным столом и, низко наклонив свою курчавую голову, освещаемую большою кабинетною лампой, разбирал какие-то бумаги, когда Марья Сергеевна быстро вошла к нему, запыхавшаяся и раскрасневшаяся от ходьбы и волнения.

- Маня? Вот сюрприз!

Он с улыбкой поднялся ей навстречу.

- Он приехал... - проговорила она тихим упавшим голосом.

Виктор Алексеевич слегка вздрогнул и с недоумением остановился на полдороге.

- Когда же? - тихо спросил он. Слово "приехал" поразило и его.

Она молча вместо ответа протянула ему смятую телеграмму. Вабельский быстро пробежал глазами листок.

- Да ведь завтра же... - сказал он, с недоумением взглядывая на нее.

Она молча кивнула головой.

- А ты сказала "приехал"! Я думал, что он уже тут...

Марья Сергеевна нетерпеливо передернула плечами.

- Ах... Не все ли равно... Завтра... Сегодня... Одно и то же...

Вабельский еще раз перечитал телеграмму, и, даже перевернув ее, посмотрел на оборотной стороне адрес, как будто все еще в чем-то удостоверяться и в первую минуту не зная еще сам, что предпринять, как держать себя и что сказать.

- До завтра... - машинально сказал он.

Марья Сергеевна вздрогнула, и это слово, выговоренное им самим, показалось ей еще ужаснее и мучительнее, и она вдруг опустила на кресло и, закрыв лицо руками, глухо зарыдала.

Виктор Алексеевич терпеть не мог женских слез; они всегда как-то странно действовали на него; при виде их он и сердился, и терялся в одно и то же время.

- Боже мой... Боже мой... - повторяла она между рыданиями, - что делать, что делать!

Вабельский сердито заходил взад и вперед по комнате, заложив руки за спину, как всегда делал в минуты сильнейшего раздражения. Слезы Марьи Сергеевны, ее отчаяние, ужас и страх невольно сбивали с толку, как он говорил, и его самого. До сих пор его романы не отличались особенным драматизмом, и в подобных случаях дело обходилось и просто, и легко. А тут, при виде ее измученного лица и слез, ему и самому все это начинало казаться чем-то очень сложным, как будто он в чем-то так запутан, что не может и не умеет даже найти выход.

- Ну, полно же... - проговорил он, наконец, подходя к ней.

В глубине души он все же чувствовал к ней некоторую нежность, и ему было ее жаль. Он ласково отвел ее руки от заплаканного лица и поцеловал их ладони.

Она тихо всхлипывала, положив голову ему на плечо и изредка поднося его руку к своим губам.

- Ведь мы и раньше ожидали этого, пугаться особенно нечего...

Марья Сергеевна смотрела на лампу, на письменный стол с портретом какой-то тетки, на его дорогую ей руку, лицо... И мысль, что им придется лгать, притворяться, изворачиваться, наполняла ее и горечью, и стыдом, и отвращением.

- Теперь все кончится... - высказала она вслух свою мысль, думая о том, что в их отношениях кончится все хорошее, что она так любила, что было ей так дорого.

- Э, глупости! Ничего не кончится, если ты сама не испортишь всего.

Он долго и много говорил ей, хотя и не был уверен, понимает ли она его и сумеет ли исполнить свою роль согласно его плану, и внутренне досадовал на нее: точно как ребенок! Даже странно, женщина, а хитрости - ни на грош! Ему редко приходилось "учить" своих подруг, а если и случалось наставлять более неопытных, то ученицы схватывали всю премудрость на лету и выучивались с первого же урока. "А эту Бог весть когда надоумишь!"

И он с легким раздражением искоса взглядывал на нее. Она сидела на диване, тяжело опершись головой на одну руку. По ее точно вдруг осунувшемуся лицу разлились желтоватые болезненные тени, а полная фигура ее, тяжело и неграциозно согнувшись, и даже самое лицо, обычно такое прелестное, в эту минуту показались ему некрасивыми и непривлекательными.

"Теперь дурнеть еще начнет! - подумал он с неудовольствием. - Начнутся эти вечные слезы, упреки, терзания и через год, глядишь, старухой будет. Нет, все-таки эти тридцатилетние женщины ужасно непрочны в своей красоте: держатся-держатся, да вдруг разом и поблекнут".

- Во всяком случае, ужасного еще ничего не случилось, да, быть может, и вовсе ничего особенного не случится, - сказал он, ходя из угла в угол.

- Ты думаешь? - Марья Сергеевна тихо подняла голову и с тоскливою задумчивостью взглянула на него. - А я... боюсь, что впереди нам, быть может, предстоит нечто еще более ужасное.

Вабельский остановился и тревожно посмотрел на нее. В ее словах ему послышалось что-то подозрительное, что вдруг как-то неприятно подействовало на него.

- То есть, что же это... Нечто, еще более ужасное?

Марья Сергеевна молчала, не глядя на него, как будто нарочно избегая его взгляда, и в ее лице было что-то странное, страдающее и недосказанное.

Вабельский все тревожнее и пытливее смотрел на нее.

- Маня... Что же..?

Она нервно хрустнула пальцами и вдруг быстро встала с дивана.

- Ах, я не знаю еще...

И, отойдя в самую глубь комнаты, наклонилась над стулом, поднимая с него свой платок, так что все ее лицо находилось в тени, а Виктор Алексеевич не мог рассмотреть не только его выражения, но даже плохо различал сливавшиеся в полусвете черты его.

Она знала, что он не видит ее, и в эту минуту это было для нее приятно. Она чувствовала какое-то странное состояние в душе. Ей было стыдно мучительным, тяжелым стыдом и от того, что она угадывала в себе, и от того, что должна была высказать ему вслух мысль, при которой вспыхивала даже наедине сама с собой. Ей было горько и обидно инстинктивное понимание, что ему это неприятно, и в то же время где-то в самой глубине ее души шевелилось теплое и радостное чувство. Сознание, что она может быть беременною, охватывало ее ужасом и отчаянием, но мысль, что это будет его ребенок, невольно умиляла ее.

Наконец она завернулась в свой платок и подошла к нему. Он стоял все так же угрюмо и сумрачно, опершись на край стола. Марья Сергеевна тихо провела рукой по его лбу и, отстранив с него курчавую прядь волос, взглянула ему прямо в глаза... «Да, он не хочет... Ему неприятно это... Но...»

Но в эту минуту она как бы чувствовала в себе часть его существа, и это делало и его самого таким близким и дорогим ей, что она невольно прощала ему все, и даже само его недовольство и нежелание, всегда так мучительно обидное и горькое для женщины. И, прощая ему все, бесконечно любя его, она взяла его руку и горячо поцеловала ее.

XVII Вернувшись от Вабельского около девяти часов, Марья Сергеевна прошла прямо к себе в комнату. Виктор Алексеевич обещал все-таки прийти к ним к девяти часам пить чай.

Наташа была в своей комнате. Марья Сергеевна понимала, что тянуть больше нельзя, и нужно сказать дочери сейчас же, что завтра приезжает отец. Она поднялась наверх, к Наташе, и тихо отворила дверь.

- Ты все учишься? - спросила Марья Сергеевна только для того, чтобы начать как-нибудь, но голос ее звучал ласковее, чем обычно в последнее время.

Несмотря на ощущаемые ею смущение и неловкость, она в эту минуту, морально смягченная, чувствовала и к дочери прежнюю теплоту и нежность. В своем страдании и смятении все ее существо инстинктивно требовало утешения и ласки. И, подойдя к дочери, она нежно прижала к себе ее голову и горячо поцеловала в лоб.

- Завтра приедет папа, - тихо проговорила она.

Наташа вздрогнула и взглянула на мать испуганными глазами.

- Папа? - тихо повторила она.

Марья Сергеевна кивнула головой, и несколько мгновений они молча глядели в глаза друг другу, внутренне сознавая, что каждая из них хорошо понимает всю важность его возвращения "теперь", и Марье Сергеевне казалось, что эти милые глаза, затеплившиеся вдруг такой любовью и нежностью, сейчас заплачут; ей невольно вспомнилось, как несколько лет тому назад она сильно обрезала себе руку и как стоявшая тогда возле нее Наташа, молча, с ужасом глядела на эту руку, вся побелев, с дрожащею челюстью, и с этим же самым выражением испуга, жалости, любви и боли, как будто ей самой было больно.

"Да, она понимает, - думала Марья Сергеевна с нежным, благодарным чувством, - и жалеет... Она любит, и не переставала любить меня. И теперь это сказалось... А я-то, я-то..." И, пригнув дочь еще ближе, она хотела опять поцеловать ее, но Наташа, не дожидаясь ее движения, вдруг сама быстро закинула руки ей на шею и, прижавшись к ней, крепко поцеловала ее. Так целовала она ее, бывало, еще в детстве, когда хотела утешить мать в чем-нибудь и не умела подобрать слов для выражения своей любви.

Надорванные нервы Марьи Сергеевны не выдержали, и, припав головой на плечо дочери, она вдруг горько зарыдала...

- О, мамочка, милая... Не надо...

Марья Сергеевна чувствовала нежные поцелуи дочери и тихое прикосновение ее рук на своем лице, и какое-то умиленное, блаженное и радостное чувство охватывало ее все сильнее и сильнее. Все ее существо жаждало прощения от этого чистого существа, которое в эту тяжелую минуту точно вновь вернуло ей всю свою прошлую любовь.

Часто потом, много времени спустя, Марья Сергеевна, вспоминая эти минуты, думала, что если бы они тогда продлились, то вся ее жизнь пошла бы, быть может, иначе, и чувство, охва-

тившее ее в то время, не могло бы угаснуть так быстро и, быть может, вернуло бы снова ее к дочери и мужу...

Но дверь слегка приотворилась и в ней показалась фигура Фени.

- Виктор Алексеевич пришли и просят вас вниз.

Марья Сергеевна вздрогнула и, подняв голову, взглянула на Феню. Она чувствовала, что вся душа ее еще полна этим чудным состоянием, и ей хотелось продлить его, но в то же время она инстинктивно сознавала, что оно уже разрушено и вернуть его невозможно.

Когда Феня сказала, что пришли Виктор Алексеевич и просят ее вниз, Марья Сергеевна почувствовала, как рука Наташи дрогнула и крепко сжала ее руку своими холодными пальчиками, точно стараясь удержать и боясь отпустить ее от себя.

- И чай в столовой уже подан, - равнодушно продолжила Феня и, подошедши к Наташиной кровати, стала приготавливать ее на ночь.

Марья Сергеевна слегка потянула свою руку из рук дочери, и Наташа вдруг, молча, выпустила ее и отодвинулась от матери. Марья Сергеевна чувствовала, что ей не нужно уходить сейчас. Что лучше остаться с Наташей. Что тогда, быть может, между ними кончится все то тяжелое и натянутое, что в последнее время как бы стояло между ними. Но непреодолимая сила тянула ее вниз. Смущенно наклонившись к дочери, она нежно, с виноватым выражением в глазах поцеловала ее еще раз, как бы прося ее простить за то, что уходит...

Но этот поцелуй уже не был таким горячим и нежным, как те, которыми они обменялись минуту назад...

Продолжение следует...

М.В. Крестовская.



*Не слушай тех, кто много обещают. Они обычно ничего не выполняют.
Гони друзей, что предали однажды. Кто предал раз, предаст тебя и дважды.
И не ищи любви, где нет ответа. В любви есть двое. Нет других сюжетов.
Омар Хайям.*

Покаяние

Матери

Тянет в прошлое памяти нить
Среди жизни мирской толкотни.
Будет поздно прощенье просить,
Когда в вечности канут все дни.

Не пора ли нам душу отдать
Покаянью пред тем, что ушло...
Перед жизнью, что прожила мать,
Поклониться... ужель тяжело?

Перед лаской натруженных рук;
Перед горькой родною слезой,
Что стекала в преддверье разлук,
Когда мы расставались с тобой.

Вновь, как прежде, тебя бы обнять,
Но немножко нежней и теплей...
Ты прими покаяние, мать,
Запоздалое, взрослых детей.

09.04.2016 Александр Лазутин.
«Свете Тихий»



РУКИ МАТЕРИ

Этих рук дороже не сыскать,
сколько ни живи на белом свете.
Каждый раз, когда я вижу мать,
всё гляжу, гляжу на руки эти...
Сколько лет, как нянчили меня!
Да, с годами сильно постарели.
И всегда (что точно знаю я)
утешенье находили в деле.
Рук таких не встретить у других:
здесь тепло особое таится,
и, когда я думаю о них,
мне по-детски безмятежно спится.
Не тревожусь даже в страшном сне,
когда знаю, что на белом свете,
всё ещё заботясь обо мне,
каждой жилкой дышат руки эти.

В.А. Бодров.
Россия.

Глупо не общаться с человеком, который тебе дорог. И неважно, что случилось. Его в любой момент может не стать. Представляешь? Навсегда. И ничего не вернёшь.

Детские странички

Тигр и бурундук

Встретив тигра возле горки,
К носу - нос, средь бела дня,
Бурундук прижался к норке:
- Мы с тобою не родня?
Тигр вопросом был взволнован,
Но, помедлив чуть, изрёк:
- Ты вдоль тела разлинован,
Я, как видишь, - поперёк.
Нет, с тобой мы не родня!
Не похож ты на меня!

Юрий Архаров



Солнце льет на землю свет
Из небесной выси,
А светло тебе иль нет
От тебя зависит.

Юрий Архаров



БЕЗДОМНАЯ КОШКА

Однажды я встретил бездомную кошку:
- Как Ваши дела?
- Ничего, понемножку...
- Я слышал, что Вы тяжело заболели...
- Болела.
- Так, значит, лежали в постели?
- Лежала на улице много недель -
Бездомной, мне некуда ставить постель.
Подумал я: "Странно, что в мире огромном
Нет места собакам и кошкам бездомным."
- Вы слышите, кошка? Пойдёмте со мной -
Темнеет, и значит, пора нам домой!
Мы шли с ней по улице гордо и смело -
Я молча, а кошка тихонечко пела.
О чем она пела? Возможно, о том,
Что каждому нужен свой собственный дом.

Алексей Дмитриев.



- Тебе что-нибудь купить?... - ДА!... - А что?... - Пока не знаю, но... ДВА!...

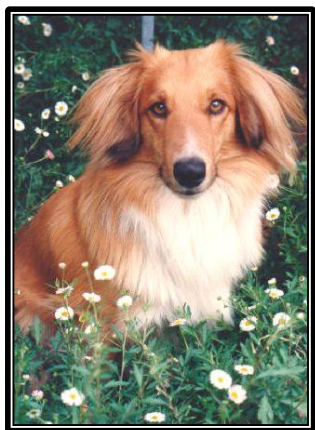
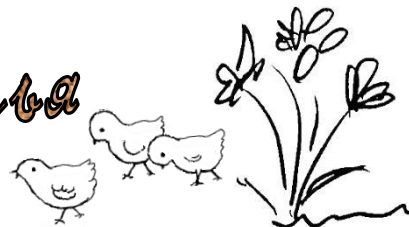
**«Никогда не стоит
хвастаться будущим».
Н.В. Гоголь**





Тузик и его друзья

Разноцветное чудо



Солнышко с утра играет золотыми лучами, радует Шумный Двор. А там, на Шумном Дворе, все заняты делом, готовятся к Пасхе...

Рябушки сидят в гнёздышке, на яйцах, - хотят к празднику цыплят вывести, гномиков обрадовать.

Бублик и Говорилка прибирают во дворе - поднимают с травы игрушки, причёсывают Тузика. Матильда Леопольдовна помогает малышам поливать цветы.

Наконец гномики подмели дорожку перед домом. Остановились. Вытерли пыльными ладошками потные щёки и перевели дух.

- Бублик, а, Бублик, - сказал Говорилка, - наверное, мамочка уже испекла куличи...

- Значит, она будет украшать куличи глазурью, - подпрыгнул и радостно захлопал в ладошки братишка. - Можно будет и сладенького лизнуть...

Гномики хитро переглянулись, и уже через минуту оба стояли в кухне.

Не успела мама-Иголочка отвернуться, как Бублик и Говорилка запустили пальцы в миску. Глазурь испачкала гномикам носы, попала на пыльные щёки и одежду. Но малыши довольны, улыбаются.

- Ах вы, шалуны! Да разве можно грязными ручонками..?

- Нам нужно было проверить глазурь, - сказал Бублик, и опустил глаза.

- А вдруг она получилась не сладкая? - добавил Говорилка, и облизнулся.

Мама-Иголочка покачала головой: с малышами в кухне трудно украшать куличи.

- Вот что, детки, - сказала она, - хотите красить яйца?

Гномики обрадовались. Вымыли ладошки и липкие рожицы, потом принесли баночки с краской для яиц, разложили под Леопардом чистую бумагу и - занялись делом.

- Ура! - закричал Бублик, - у меня уже красное яичко готово!

- А у меня два - зелёное и жёлтое, - сказал Говорилка.

- А вот ещё голубое... и ещё одно - красненькое, - засмеялся Бублик.

Сороки на заборе притихли и с любопытством наблюдают за гномиками.

С ветки высокого Леопарда на малышей смотрит попугай Базлан. И тоже молчит. Никогда ещё не видел он разноцветных яиц, похожих на его собственные крылья...

В курятнике тихо разговаривают четыре Рябушки.

- Ко-ко-ко... у нас скоро вылупятся цыплята. Как мы их назовём?

- Тише, тише! - скрипнул веткой Леопард. - Вас могут услышать гномики, и тогда - какой же им сюрприз..?

Но Бублик и Говорилка не слышали разговора в курятнике, слишком заняты были интересной работой. На чистом листе бумаге уже много разноцветных яиц. И все красивые, на солнышке блестят. А вот и последние яички готовы...

Мама-Иголочка позвала детей завтракать. Гномики оставили крашенные яички на траве, подсыхать, и побежали в дом.

И вот тут произошло что-то непонятное...

Сороки увидели, что во дворе никого нет, спрыгнули на траву - и к дереву! К яичкам! Базлан забеспокоился: "Несносные птицы, опять что-то затеяли". Он раскрыл дверь курятника и крикнул Рябушкам:

- Скорее! Прячьте крашенные яички себе под крылья!

Сказано - сделано. Базлан помог Рябушкам отогнать сорок, подождал, когда куры перетасят все яички к себе в гнёзда, и тогда закрыл дверь курятника.

И вот, сидят Рябушки у себя уютных гнёздах, и тихонько переговариваются:

- Ко-ко-ко... сказала первая Рябушка, - пусть, крашенные яички согреются, из них тоже цыплята вылупятся.

- Ко-ко-ко... - ответила вторая курочка, - наверное, разноцветные получатся.

- Ко-ко-ко... - подала голос третья Рябушка, - говорят, на Пасху настоящие чудеса бывают. Четвёртая Рябушка тоже хотела что-то сказать, но в это время во двор вышли гномики.
 - Что такое - куда делись яички? - удивился Бублик.
 - Может, сороки что-то знают? - оглянулся Говорилка.
 Но сорок и след простыл. На Шумном Дворе и в курятнике тихо. Из домика вышли папа-Лобик и дедушка-Помахайкин.



- Не горюйте, малыши. Идите скорее в дом, мы покрасим другие яички. Гномики опять сели за работу. К вечеру на тарелке красовалась гора новых разноцветных яиц - красных, зелёных, жёлтых, ярко-синих, фиолетовых.

А ночью...

Всю ночь Бублику и Говорилке снится одинаковый сон: большой кулич, покрытый глазурью, играет на балалаечке, а вокруг пляшут и пищат тоненькими голосами разноцветные яички...

Утром малыши проснулись, оттого что на Шумном Дворе засмеялось солнышко: так оно поздравило землю с Пасхой. И тут же весело закричал Базлан.

- Эй, засоньки, скорее вставайте! Посмотрите, какой вас ждёт сюрприз...!!!

Гномики, выбежали во двор. Смотрят - и ничего понять не могут: по травке возле дома бегают и пищат пушистые разноцветные комочки на ножках - синие, зелёные, красные, фиолетовые. За ними, едва поспевая, ходят Рябушки и приговаривают: «Ко-ко-ко... не убегайте далеко!»

- Ну, прямо как во сне, - потёр глаза Бублик: - мне сейчас такое снилось.

- Мне тоже снилось, - удивляется Говорилка.

- Посмотрите, - мяукает Матильда Леопольдовна, - цветные комочки похожи на цыплят!

- Наверное, Рябушки по ошибке сидели на разноцветных яичках, - сказал Тузик.

На ветке Леопарда захлопал крыльями Базлан.

- Это не ошибка! И не сон! Это я сказал Рябушкам спасти разноцветные яички. Вы же оставили их под деревом, а сороки могли утащить в свои гнёзда...

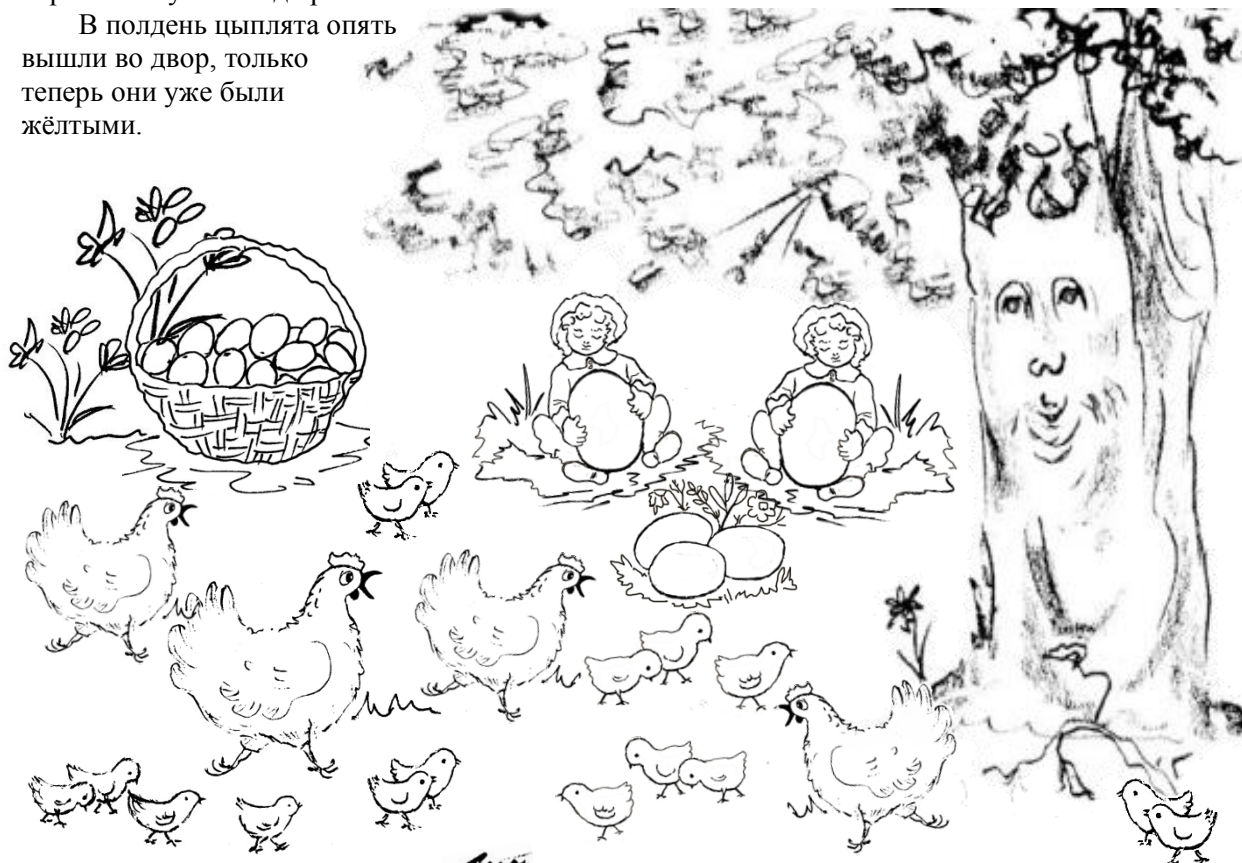
- Я хочу цыплёночка поцеловать, - сказал Бублик, и осторожно поднял красный комочек.

- Так это не сон? Это правда? - ахнул Говорилка, рассматривая зелёного цыплёнка.

- Ещё какая правда! - обнял гномиков дедушка-Помахайкин. - Ведь сейчас Пасха, а на Пасху обязательно бывают чудеса.

Разноцветные комочки погуляли по двору ещё немного, а потом подошли к Рябушкам и спрятались у них под крыльями.

В полдень цыплята опять вышли во двор, только теперь они уже были жёлтыми.



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| Догорает закат... (стих. прот. В. Мазур) | 1 |
| Пасха (стих. А. Янко) | 1 |
| Под небом растаяла туча... (стих. Хуан Рамон Хименес) | 1 |
| В ожидании весны (стих. А. Гушан) | 2 |
| Июнь (стих. Вл. Колабухин) | 2 |
| Моя страна (стих. А. Гутин) | 2 |
| Святая сила слова... (статья, В.Д. Ирзабеков) | 3 |
| О, могучий мой Русский Язык... (стих. Л. Деева) | 5 |
| Волга (миниат. А. Смирнов) | 5 |
| Звезде (стих. А. Лазутин) | 5 |
| Когда о самом сокровенном... (стих. С. Филиппов) | 5 |
| О видоизменениях любви (статья, Ильин) | 6 |
| Берег в вечерней заре золотится (стих. А. Лазутин) | 9 |
| После театра (рассказ, А.П. Чехов) | 10 |
| Русский дом (стих. Ген. Головин) | 11 |
| За околицей, у речки... (стих. В. Шамонин-Версенева) | 11 |
| Разговоры (рассказ, Тэффи) | 12 |
| Любовь не возвращается... (стих. Г. Иноземцева) | 13 |
| Рассказ старшего садовника (рассказ, А.П. Чехов) | 14 |
| Старики что дети... (стих. А. Гушан) | 16 |
| Месяц тонок... (стих. Э. Ковшевский) | 16 |
| В мокрой чаще лесной (стих. Ген. Русских) | 16 |
| Возвращение (рассказ, Демьян Баритонов) | 17 |
| Седовласый князь (стих. Ген. Головин) | 20 |
| Высокий белый зал... (стих. И. Бунин) | 20 |
| Видение (рассказ, А. Маркиянов) | 21 |
| Дыхание земли (стих. Елена Русецкая) | 26 |
| Памятник (рассказ, Ген. Гончаров) | 27 |
| Письма читателей | 31 |
| От редакции | 32 |
| Свет (рассказ, свящ. Ярослав Шипов) | 33 |
| Мудрец и купец (притча, В.К. Невярович) | 34 |
| Ночь сиянием звездным... (стих. П. Грызлов) | 34 |
| Осовец (стих. С. Михайлов) | 35 |
| Голуби (стих. Вл. Колабухин) | 36 |
| Саломея (роман, А.Ф. Вельтман) | 37 |
| Никак седина... (стих. А. Гутин) | 45 |
| Ранние грозы (рассказ, М.В. Крестовская) | 46 |
| Покаяние (стих. А. Лазутин) | 53 |
| Руки матери (стих. В.А. Бодров) | 53 |
| Детские страницы - | |
| Тигр и бурундук; Солнце льет... (стихи, Юрий Архаров) | 54 |
| Бездомная кошка (стих. А. Дмитриев) | 54 |
| Тузик и его друзья (Т. Малеевская, рис. автора) | 55 |

Над номером работали: редактор Т.Н. Малеевская.

Журнал можно приобрести в редакции «Жемчужины» - (07) 3161-49-27, в прицерковных киосках Св.Николаевского Кафедрального Собора, Св.Серафимовского храма и Св.-Владимирской церкви (Рокли) в Брисбене, в киоске Покровского Кафедрального Собора в Мельбурне, а также у следующих лиц:

Э.И. Городилова (02) 9727-69-87

З.Н. Кожевникова (02) 9609-29-87

Рисунки на обложке и к избранным текстам (иниц.) – работы Т. Малеевской (Попковой).



Т. Малеевская
«Страна отцов»
«Серебряный город»
«Душенька»:

А также книга

В.А. Малеевского «Претенденты на
Российский Престол»
За справками обращаться:

(07) 3161-49-27

или

tamaleevpearl@gmail.com



**Литературный кружок
«Жемчужное Слово»**

<http://zhemchuzhnojeslovo.yolasite.com>

**Сайты связанные с журналом
«Жемчужина»**

* Электронная версия журнала «Жемчужина»
<http://zhemchuzhina.yolasite.com>

* Новый сайт «Русское Зарубежье», посв. Харбинцам
и послевоенным эмигрантам из Европы –
<http://russkojezarubezhje.yolasite.com>

Также личный сайт автора - tamaleevwriting.yolasite.com

